

М. НАРЫШКИНА

РАССКАЗЫ
О
ПАВЛОВЕ

ДЕТГИЗ · 1952

~~29418~~

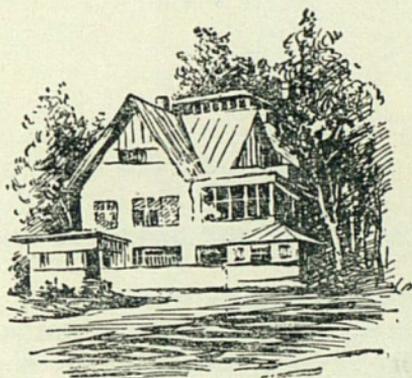
~~3022~~

78



М. НАРЫШКИНА

РАССКАЗЫ
О ПАВЛОВЕ



Рисунки М. Шувалова

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1952 Ленинград



59

3022

694472 кр пер

Российская государственная
детская библиотека



ГОРОДКИ

Весною Ваню особенно тянуло из сумрачных классов на волю.

В оврагах еще лежит талый ноздреватый снег, а тёплый сырой ветер несёт сочный дурманый запах оживающей травы и прелых листьев. С огородов крепко пахнет перегноем. На голых ветвях вспухают почки. Цветёт верба серебристыми пушкáми. В вечернем розовом небе кружатся тучи грачей, наполняя окрестности весёлым птичьим гамом.

Только прозвенит по холодным мрачным коридорам звонок, — нетерпеливо распахиваются двери классов и на улицу с гиканьем и свистом вырываются мальчишки. Для них только теперь начинается жизнь.

Присвистывая, Ваня мчится галопом по широкой, заросшей травой улице. Куры с испуганным кудахтаньем разлетаются из-под его ног.

Он может сейчас побежать на косогор над рекой

или забраться на голубятню. На пустыре за огородами его ждут мальчишки играть в городки. Но прежде он сделает чурки для игры: берёзовые кругляши уже припрятаны. Тихо скрипнув калиткой, Ваня поднимается по ступенькам. Он не хочет попадаться на глаза взрослым: сегодня у него свои дела. По комнатам Ваня старается двигаться степенно, без шума. Окна занавешены — полумрак, только в щёлку пробивается красный луч заходящего солнца. На скрипучих некрашенных половицах разостланы тряпочные дорожки. Зато по крутой деревянной лесенке к себе в светёлку Ваня взлетает через две ступеньки. Сапоги, намявшие пальцы, летят под кровать. На крыльцо Ваня выходит с большим кухонным ножом, в подоле рубахи — берёзовые кругляши. Он усаживается на деревянные стёртые от времени ступеньки и строгаёт, прижимая к груди чурки. Лицо у него серьёзное и сосредоточенное. Брови нахмурены. Упрямые вихры топорчатся на лбу. Губы деловито оттопырены, над ними выступили мелкие капельки пота. От усердия Ваня посапывает. Чурки будут такие, каких еще ни у кого не бывало в Рязани. Гладенькие, ровненькие — одна к одной. Готовые Ваня устанавливает на ступеньке в ряд. Время от времени, перестав строгать, наклоняет голову набок и любит. До чего хороши! Мысленно мальчик уже представляет, как чурки будут расставлены в городке, начерченном на земле, там, на пустыре. Вот он уже целится. . . занёс палку. . . Ваня даже прищурил глаз и, улыбаясь, представляет, как со звенящим стуком маленькие, лёгкие чурки разлетаются от удара в разные стороны.

И Ваня снова принимается строгать. Вот по двору прошла мать с подойником в руках. Она хотела послать Ваню к отцу в огород, но, взглянув на сына, ничего не сказала ему. Лицо у Вани такое, что пропади сейчас всё вокруг него пропадом, — он не бросит своих чурок. Мать улыбнулась одними глазами. К работе мальчонка усердный, помощником в доме растёт. И гряды копает с охотой, и навоз с братом возит из хлева, и плетень починит, и клетушки для птиц сладит. Много работы и во фруктовом саду, и на пчельнике.

Отец с гордостью говорит соседям:

— Старший у меня в работе упрямый, — что задумает, то и сотворит. Весь в наш род пошёл.

Ваня строгаёт на ступеньках; брови нахмурены — лучше не подходи. Мальчишки шепчутся за забором, прильнув к щелям:

— Чурки строгаёт. . .

Вот почему они напрасно прождали его за огородами на пустыре.

— Ишь, и головы не поднимет.

Да только ничего не укроется от Вани. Он уже слышит возню за забором. Кто-то из ребят прыснул и зажал себе рот рукой. Отец прошёл из огорода с лопатой и граблями на плече. Из хлева доносится тугой звенящий звук струи молока, ударяющейся о подойник. Корова хрупаёт жвачку, шумно вздыхает. Ваня потянул носом воздух — запахло тёплым парным молоком.

— Вань, а Вань, выдь на улицу.

— Вань, айда в городки.

— Не пора мне, — Ваня отвечает деловито, чуть-чуть баском, как отец.

Он усердно строгаёт. Ему ещё приходится следить за тем, чтобы левая рука не совалась в работу вместо правой. Схватит нож левой рукой, да сейчас же и передаст его правой.

Он левша. Мальчишки осторожно подсмеивались над ним — взъерепенится, чего доброго, тогда держись. Ведь так и налетит, что петух. Они-то хорошо помнят, как прошлым годом во фруктовом саду Павлова, где сейчас белеют вымазанные извёсткой стволы яблонь, а летом на солнце зреет анис, появилась самодельная трапеция. А потом Ванька вызвал мальчишек на кулачки. Правую на правую! Теперь он имеет то преимущество перед всеми, что обе руки у него одинаково сильны. Но в городки он всё-таки попрежнему играет левой. Теперь это его право, право, им завоёванное. И притом никто из мальчишек на пустыре не играет лучше его.

„Этот уж не промажет“, — говорили они с тайной завистью.

Без него зато игра не игра.

Вот мальчишки уже стоят вокруг Вани у крылечка и ждут, пока он кончит строгать.

— Подсобить?

Он упрямо качает головой:

— Сам.

А когда работа окончена, все бегут на пустырь. Впереди несётся Ваня. За пазухой постукивают чурки.

— Скорей! — кричит он, ему не терпится.

— Первый, чур!

— А ну, Вань, стукни хоть разок правой, — чего тебе стоит? — улыбаются мальчишки.

— Развернись да как дай!

Он наклонился, целится. Лицо сосредоточенное, закушена губа. Мальчишки знают уж: когда он бьёт, что ему ни говори, — даже не посмотрит. Просвистела, вертясь в воздухе, палка, разлетелись чурки. Вот теперь он оглянется. Глаза быстрые, озорные.

— А ты дай-ка так правой своей, как я левой-то. Чего тебе стоит? Ну? Развернись да... Ра-аз... Вот и промазал! Эх ты, мазила! Ха-ха-ха! — смеётся Ваня. Мальчишки тоже смеются.

— Нет, уж чего говорить, городки брать Павлов мастак.

И долговязые парни-семинаристы признали его превосходство. Они теперь повадились на пустырь. По правде сказать, мальчишки не больно рады незваным гостям, да попробуй-ка не прими их в игру!

— Пусть, пусть! Ванька их так разделает, что чурки свои не соберут. Вот он уже целится, теперь берегись!

А он вдруг почему-то выпрямился, опустил палку, только глаза блеснули.

— Эй ты, длинный, — кричит он, — покажи книжку. — Заметил ведь за пазухой, за ремнём. Семинарист снисходительно улыбается сверху, но всё-таки достаёт. Другому, может быть, и не дал бы. Ваня книжку бережно принял в руки.

— Играйте сами, я не буду.

Он перелистывает истрёпанные страницы. Мудрено называется книжка. Про что же это? Брови его нахмурены. Грязными, короткими пальцами он ерошит себе волосы. „Оказывается, пища в желудке человека взбивается, как сливки в маслобойке! А из крови человека можно добыть железо, звонкие кусочки металла! Точно ли? А сердце человека бьётся шибко-шибко и не знает отдыха.

Вот когда он узнает, как устроен живой человек!

Он сидит на куче сброшенных на землю пальтишек и, позабыв игру, читает.



Уже совсем стемнело, когда кончилась игра. Мальчишки теребят из-под Вани свою одежонку. Он поднимает голову. Глаза у него так блестят в темноте, точно городки берёт, а то и не городки, а целые городища. Целый новый мир!

Ваня бережно прижимает книжку к себе.

Теперь-то он будет читать всю ночь напролёт.

Ночью тихи тёмные улицы Рязани. Вдруг где-то вдали залает, залётся собака, а ей отзовутся другие, и долго потом встревоженный не смолкает разноголосый хриплый лай. Большая светлая луна всплывает над тёмной глянцевиной гладью реки, над щетинистой чащей голых еще садов, над сонными улицами. Только в одном маленьком окошке до рассвета горит огонёк.

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Между зелёных гряд белым пятном виднеется рубаха отца.

Молодой Павлов вытер рукавом пот с лица, улыбается, щурясь от солнца.

— Папаня, а ну кто первый закончит гряды? — он оглянулся: сзади тянутся две масляно-чёрные полосы свежевзрыхлённой земли, одна отца, другая его. А впереди беловато-голубые цветы картофеля совсем затерялись в буйной заросли сорных трав.

— Нет, смотрите, папаня, я ведь первый дойду, — и молодой Павлов уже с силой нажимает ногой на лопату. Она легко поддаётся. Хрустят под её острыми краями стебли сорняка.

— Скажи „гоп“, когда перескочишь, сыне, — басом неторопливо отзывается отец.

А сын быстрым, лёгким движением поднимает на лопате пласт земли, переворачивает и ребром лопаты разбивает его.

У отца и сына лица коричневые от загара блестят на солнце от пота. Отец подмигивает косматой бровью:

— Нет, брат ты мой, подожди еще отца в старики отписывать.

К концу полосы отец и сын пришли враз. Отец первый разгибается, бросает лопату.

— Нет, еще мало каши ел, победитель, — глаза его хитро смеются из-под нависших бровей.

„Не так уж мало, коли вас догнал“, — думает про себя сын и улыбается.

Утирая пот с лица, они садятся отдохнуть у гряд на самом солнцепёке. Развязывают узелок с завтраком. Вкусно похрустывает зажаренная корка горбушки. В смятой бумажке щепотка крупной соли. Кузнечики прыгают прямо по разостланной на траве салфетке с хлебом.

Отец отёр усы, смахнул крошки с бороды и поднёс ко рту баклажку с тепловатой, нагретой на солнце водой:

— Этак мы с тобой завтра и кончим, а? А там и за покос.

В Заречье где-то далеко голосисто пропел петух, ему откликнулся другой, третий, уж совсем близко.

— Не быть бы перемене в погоде, — отец, прикрыв от солнца широкой ладонью глаза, взглянул на небо. Белоснежные, пенистые облачка застыли в голубой вышине. — Надо торопиться с покосом, — теперь лицо отца озабоченно и сурово, — начнутся у тебя в семинарии занятия, тогда будет недосуг.

Молодой Павлов чувствует, как у него загорелись щёки и уши, только под загаром незаметно. Он смущённо ковыряет палочкой землю.

„Нужно отцу сказать, — решает он. — Пора. Кончится сенокос, там ведь и в дорогу...“

Но отец уже поднимается с земли.

— Ну, победитель, начнём? В этот раз я уже не поддамся. Держись.

С огородов отец и сын ушли, когда село солнце. По меже шли гуськом — друг за другом, на плечах лопаты. Лениво позванивают колокольца возвращающегося стада. Звонко в вечернем воздухе разносятся голоса, окрики пастуха. Хлопают калитки. Мычат коровы.

В небе зажглась первая звёздочка, потом другая, третья. Тонкий, бледный месяц всплыл над тёмной кущей садов. А внизу под косогором светлосерая гладь реки.

За ужином сын высказал своё решение отцу.

Сердце шибко стучало в груди. Он решил раз навсегда — посвятит свою жизнь науке, после сенокоса поедет в Петербург, поступит в университет.

В комнате сразу стало очень тихо, только большой блестящий самовар деловито шумел на белой скатерти. Мать тихо всхлипнула над блюдцем. Беззвучно кружились над лампой мошки, влетевшие на свет в раскрытое окно.

Отец сурово взглянул на сына и поставил блюдце с недопитым чаем на стол.

— Вона что. Кончи сначала семинарию.

Сын слегка побледнел.

— Мне нельзя терять времени, папаня, — тихо, но решительно заговорил он.

— Это что же за спешка такая?

— Мне очень многое надобно знать.

Отец громко отхлебнул чай.

— Что же ты хочешь знать?

— Особливо, как человек устроен.

— Врачом, что ли, задумал стать?

— Нет, — качнул головой сын.

— Так на какую надобность тебе знать, как устроен человек?

— Чтоб... помочь ему, — горячо ответил молодой Павлов. Он хотел сказать: „чтоб помочь ему стать здоровым, умным, счастливым, а трудами своими возвеличить Отчизну“, но не сказал, только улыбнулся.

— Смелые ты слова говоришь, ещё смелее мысли держишь, сумеешь ли выполнить что задумал?

— Я буду работать.

— Хорошо ли ты обдумал то, что порешил?

Сын улыбнулся. Много ночей он читал в своей светёлке и думал, и снова читал и, отложив книгу, думал, думал...

— Я порешил, папаня, — прозвучали слова тихо, но твёрдо.

И отец понял — здесь кончается его отцовская власть над сыном.

— Ну что ж, коли так, — отец встал, — в добрый час. — Он видел, какой радостью сверкнули глаза сына.

И опять у молодого Павлова сердце застучало. Отец улыбнулся одними глазами из-под нависших бровей. Или, может быть, это только показалось.

— Учись. Ученье свет, а неученье тьма.

А через несколько дней Павлов уже уезжал. Перед дорогой все сели, по старинному русскому обычаю. Никто не заметил, что отец весело подмигнул сыну, как в детстве. Отец поднялся первый, неторопливо, степенно, за ним мать и дети.

Простившись со всеми домочадцами, Иван ещё раз с порога поклонился родителям и вышел на широкую солнечную улицу.

Солнце блестело в стёклах окон маленьких деревянных домиков, в лужах на дороге. За заборами в густой темнозелёной, только что омытой тёплым дождём, листве спели, розовея и наливаясь медовым соком, яблоки. Молодой Павлов улыбнулся. Он твёрдо знал, — ей, родной земле, он будет служить.

ЖИВОЕ ОКОШКО

Ночью Иван Петрович не мог заснуть. Он ворочался в постели и думал о Жучке.

Где-то за стеной стучала швейная машинка, у хозяйки плакал ребёнок, а когда он замолкал, слышно было, как скрипела колыбелька и сонно пела уставшая мать. Сквозь запотевшие стёкла в темноту комнаты смотрела луна.

И вдруг Иван Петрович решил встать и пойти в лабораторию. Он даже удивился, что эта мысль не пришла ему раньше — ведь там ждёт его Жучка, маленькая чёрная собачонка с белым пятнышком на лбу и влажным кончиком носа.

Ивану Петровичу казалось, что Жучка самая лучшая собака на свете. Её первую сняли с операционного стола живую. Вчера Иван Петрович совсем не уходил из лаборатории и всю ночь просидел около Жучки.

Положив перед собою часы, устало подперев рукой голову, он проверял собачий пульс. Жучка подёргивала куцым хвостиком и слабо скулила. Она смотрела в глаза учёного покорно и доверчиво.

Давно Иван Петрович задумал заглянуть в живой орга-

низм, давно он решил сделать маленькое отверстие в животе животного, или фистулу, как называют его лекари.

Через такое отверстие, как через окошко, он наконец увидит, что же происходит в живом организме, прежде всего — как идёт пищеварение. Ведь питание — источник жизни организма. Значит, с пищеварения и нужно начинать.

Он должен узнать, как работает желудок, как выделяется там тот сок, который обладает чудесным свойством перерабатывать пищу.

Иван Петрович задумал окошко в живой организм сделать постоянным. Надо, чтоб собака могла нормально жить с отверстием, фистулой — есть, спать, бегать, а учёный мог бы наблюдать за тем, что у неё происходит в желудке.

Нужно, чтоб собака чувствовала себя здоровой и была весёлой, только тогда опыты над ней будут давать правильные ответы.

Старые учёные считали всё это пустой затеей.

— Что вы, что вы, Иван Петрович! — говорили они. — Многие пытались сделать такую операцию, но никому еще она не удавалась. Вы же еще совсем молоды; это не по вашим силам. Нет, уж простите, Иван Петрович, но вы задумали невозможное.

— „Невозможное“, — сердился молодой учёный, — объясните мне, почему невозможно сделать такую операцию? Извольте объяснить. Ну те-ка, я вас слушаю, — говорил он задористо. — Чепуха! Невозможного нет. Разве что без постоянной фистулы невозможно изучить пищеварение, с этим еще можно согласиться. Я буду работать. Нужно больше работать. Вот и всё.

И он работал. С тех пор он сделал много операций, но собаки с фистулой долго не жили. Старые учёные смеялись над ним. „Чудак, — говорили они, а потом махнули рукой. — Пусть себе. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало“.

А Иван Петрович каждый день надевал халат и шёл снова делать операцию. Похудел он; совсем зарос бородой, один лоб остался да глаза. Раньше они были весёлые, — со смешком, а теперь озабоченные, строгие под нахмуренными бровями.

И солнце сядет за крыши, и небо начнёт темнеть,

звёзды зажгутся, а Иван Петрович не уходит из маленького деревянного флигелька во дворе больницы, где помещается его лаборатория.

Пробежит по больничному двору санитарка в подоткнутом халате с ведром в руках или прошлёпает туфлями беспокойный больной, заглянет в светлое окошечко флигелька: на потолке распласталась большая тень молодого учёного, нагнувшегося над столом; вот она качнулась, задвигалась по бревенчатой стене и снова неподвижно застыла.

„Ну, а что если они правы? — думал Иван Петрович. — Что если всё напрасно, если действительно невозможно сделать постоянное окошечко?“ — и мелкие капельки пота выступали на его лбу.

Он ходил по лаборатории и думал. Волосы взъерошены. Руки чуть-чуть согнуты в локтях и отведены назад, точно он приготовился к нападению.

Нет, он не отступится, он добьётся. А утром снова оперировал одну собаку, другую, третью...

Но теперь он, наконец, знает, в чём была его ошибка. Маленькая чёрная собачка, с белым пятнышком на лбу и куцым весёлым хвостиком, уже второй день жила с фистулой, и Ивану Петровичу казалось, что она самая лучшая собака на свете.

— Умный пёс, необыкновенный пёс, — приговаривал Иван Петрович, торопливо надевая пальто. Стараясь не шуметь, на цыпочках прошёл по коридору, в темноте натываясь на какие-то вещи. Тихо прикрыл дверь за собой и облегчённо вздохнул. Сбежал по лестнице, на ходу застёгивая пальто.

Ночь тёплая, сырой воздух волнующе пахнет весной. В это время Иван Петрович всегда особенно скучал по дому, по Рязани, по крепкому запаху оживающей земли. А нынешнюю весну он и не заметил совсем. И сейчас ему показалось: точно после долгой болезни он первый раз вышел на улицу.

У ворот в ночной тени дремал дворник, завернувшись в овчину. Торопливые шаги Ивана Петровича громко прозвучали в сонной тишине. Улицы пустынные и в лунном свете какие-то неузнаваемые.

По мокрому, скользким доскам через мост Иван Петрович спешит в свою лабораторию. Свежий ветер с Невы отгибает ему полы пальто. В сероголубой пред-

рассветной мгле увидел он Петербург: безлюдные набережные и мосты, слабый отблеск адмиралтейского шпиля, покачивающуюся одинокую лодку у причала.

„Может быть, Жучке нужно сделать впрыскивание, — торопится Иван Петрович, — может быть, нужно наложить повязку, — мало ли какая помощь нужна оперированной собаке“.

Жизнь Жучки ему необыкновенно дорога, он почти бежит по больничному двору, вымощенному камнями. Скрипнули деревянные ступеньки лаборатории, стукнула дверь.

Жучка сердито ворчит, настороженно подняв голову. Учёный облегчённо улыбается — жива. Ему кажется, что Жучка как-то особенно хорошо ворчит. Но вот она уже узнала Ивана Петровича — обрадованно виляет хвостиком, нетерпеливо поскуливает.

— Жученька, — в голосе Ивана Петровича ласковая теплота. Он опускается на корточки перед собакой и гладит её. Но теперь лицо его снова озабоченно, брови нахмурены. Он внимательно осматривает свою больную. Жучка виновато пригибает голову к полу, прижимает уши. Тёплым влажным языком несмело старается лизнуть руку учёного.

„Нет, она должна непременно выжить, — думает он, сразу успокаиваясь. И в тот же момент лицо его оживляется. — Вот теперь, наконец, у нас есть окошко в живой организм!“ — он улыбается счастливой мальчишеской улыбкой. Ему не терпится заглянуть в это окошечко поскорее. Сколько вопросов, сколько тайн он раскроет науке!

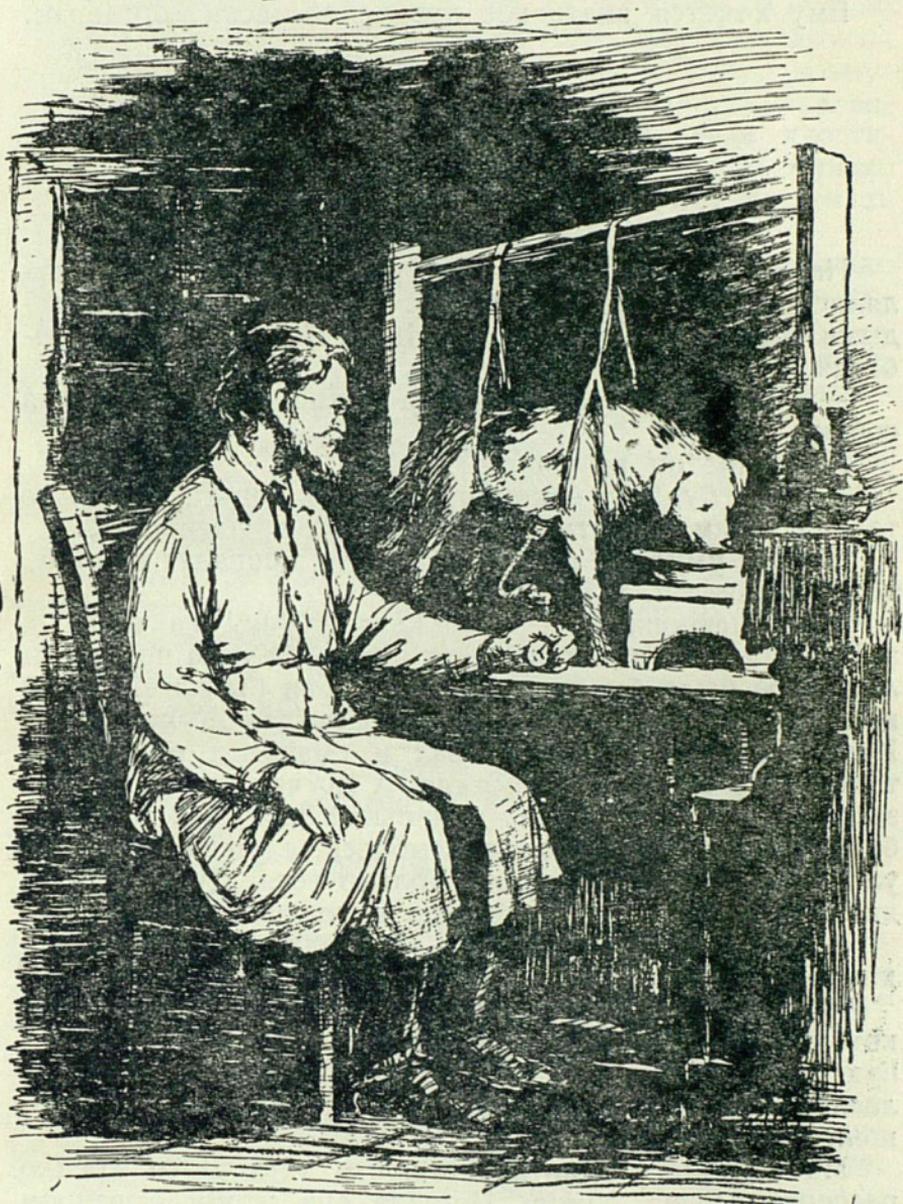
Часами просиживает Иван Петрович около Жучки наблюдая.

Из фистулы по капле стекает в стеклянную пробирку прозрачный желудочный сок.

Уже много интересного узнал Иван Петрович за это время, узнал, что для различной пищи: хлеба, мяса, молока — выделяется различный желудочный сок.

До чего хитрая и тонкая штука — живой организм! Узнал Иван Петрович, что соком этим можно даже лечить желудочные заболевания у людей.

„Теперь от собак можно брать желудочный сок, как от коров молоко, — радуется Иван Петрович, — сколько людей можно вылечить!“



3022

694472

Российская государственная
детская библиотека

29418

29418



Но Ивану Петровичу этого мало. Ему хочется знать больше.

Ему хочется знать всё про человеческий организм.

ПОДСКАЗАННЫЙ ОТВЕТ

На Жучку приходили смотреть учёные. Они спрашивались о Жучкином здоровье. Удивляясь, качали седыми бородами. Поздравляли Ивана Петровича. Он улыбался.

— Помилуйте. Это Жучка такая необыкновенная собака.

А Жучке он говорил:

— Если будут у меня когда-нибудь деньги, поставлю тебе и твоим собратьям памятник в благодарность.

Жучка умильно виляла задом, то припадая к земле, то подпрыгивая, и весело лаяла.

Иван Петрович сам взвешивал Жучку на весах и записывал, как она прибывает в весе. Жучка поправлялась. Всё было бы очень хорошо, если бы вытекающий из отверстия желудочный сок не разъедал Жучке кожу. Иван Петрович сам обмывал и смазывал ей брюхо, только это почти не помогало. А Жучка не унывала — звонкий лай её наполнял маленький флигелёк во дворе больницы. Иван Петрович улыбался, слушая этот лай, улыбались и его товарищи. Только тётя Дуся, приходившая убирать лабораторию, недолюбливала Жучку.

— От горшка два вершка, — ворчала она, — а сколько хлопот с ней и беспорядка!

Жучка приветливо виляла ей своим куцым торчком, вместо хвоста, и даже улыбалась, морща бархатную кожу на носу. И тётя Дуся понемногу примирилась с неказистой, бесхвостой собачонкой, прославившейся на весь мир.

Но случилось один раз так, что тётя Дуся крепко рассердилась на Жучку. Пришла она утром с ведром и шваброй убирать лабораторию и вдруг видит — обцарапала Жучка всю штукатурку со стены в углу, нагребла её в кучку и лежит на ней довольная.

Рассердилась тётя Дуся, и, если бы не была эта противная собачонка знаменитостью, досталось бы ей мокрой тряпкой. Но к знаменитостям у тётя Дуси был другой подход. Всердцах накричала она на Жучку, возмущённо размахивая перед её носом руками. Жучка виновато смотрела на тётю Дусю и подёргивала хвостиком. А когда Дусины пять пальцев слишком близко проносились мимо её носа, она незаметно чуть-чуть отодвигала голову и моргала глазами.

Как только увидела тётя Дуся еще издали в окошко лаборатории Ивана Петровича, распахнула дверь и с порога закричала ему во двор:

— Вот идите-ка сюда, идите. Полюбуйтесь на свою любимицу. Избаловали больно. Сегодня стену разрушила, а завтра всю лабораторию разнесёт.

— Ты что же тут безобразничаешь? — недовольно обратился Иван Петрович к собаке, потом внимательно осмотрел обцарапанный угол, штукатурку, Жучку, фистулу. Задумался. Он всегда считал Жучку замечательной собакой, но теперь поведение её становилось удивительным и, главное, непонятным. И вдруг в глазах его блеснул весёлый огонёк; хитро подмигнув собравшимся молодым учёным, он сказал:

— А ведь это она неспроста. Извольте смотреть. Учёные наклонились над Жучкой, осмотрели отверстие. Они ничего особенного не заметили.

— Смотрите, смотрите хорошенько, — улыбался Иван Петрович.

— Фистула в хорошем состоянии, — ответили ему, пожимая плечами.

— Так, так, так, — обрадовался Иван Петрович. — Ну, а ещё? Ну-с? Не знаете? Так-таки ничего не можете сказать? Вот люди! Хорошо, переведём Жучку на ночь в другой угол. Не-ет, я не скажу вам, извольте сами смотреть.

Поздно вечером, когда все сотрудники ушли из лаборатории, тётя Дуся осмотрела собачонку и тоже ничего не заметила особенного — была фистула и есть фистула.

„Задала Жучка загадку. И почему это никто ничего не видит, а он увидел, — думала она про Ивана Петровича, — вот глазастый“.

А на следующий день собака снова, испортив стену, лежала на штукатурке.

Иван Петрович ликовал.

— Молодец, Жучка! Понравилось стены рушить? Ну-те-ка, что теперь вы скажете? — обратился он к своим сотрудникам, — смотрите хорошенько. Ну-с?

Все смотрят и смущённо улыбаются, пожимая плечами.

— Не знаете? Ну, хорошо. Посмотрите. Кожа на брюхе совершенно поджила. Собака сама нас учит, как избавить её от разъедания кожи. Она прямо нам подсказывает: „Подложите мне пористую подстилку. Тогда сок, вытекающий через отверстие из желудка, будет впитываться в неё и не станет разъедать кожу“. А вы не видите ничего, ну, что за народ! Где же ваши глаза? Смотреть, видеть нужно. Без наблюдательности человек и с глазами, а всё равно точно слепой. Рядом с ним совершаются чудеса, а он смотрит и не видит. Превосходная собака! — хвалит Иван Петрович. — Вот как Жучка учёных учила!

КОГДА НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ

В лаборатории Павлова готовятся к операции.

Лицо Ивана Петровича озабоченное. Густые брови сдвинуты к переносице.

— Приготовьте собаку, — говорит он сотрудникам.

Собаке сделали горячую ванну и долго тёрли ей шерсть зелёным мылом и щёткой. А потом ещё промыли желудок. Теперь собака готова к операции.

— Что ж, начнём. — Иван Петрович идёт в операционную, в белом халате и шапочке. Рукава засучены до локтя. Руки у Ивана Петровича небольшие, но крепкие и сейчас спокойные, слегка сжатые в кулаки, точно перед боем. Он идёт делать операцию, за ним — сотрудники, ассистенты.

В операционной светло и пусто. Белые стены, белые двери, белый стол, белые халаты у людей. И движутся люди беззвучно и сосредоточенно. Яркий свет прожектора голубоватым лучом освещает блестящие инструменты, разложенные в ряд.

Операция началась.

Головы в белых шапочках наклонились над операционным столом. Руки Ивана Петровича теперь быстрые и напряжённые.

А на высокой белой двери в коридоре висит доска, на ней крупными, чёрными буквами написаны строгие слова: „Не входить — идёт операция“.

Мимо этих дверей люди проходят на цыпочках, говорят тихим шопотом, с тревогой прислушиваясь к приглушённым звукам в операционной. Проходит час, другой... Никто еще не входил и не выходил из этих дверей.

В напряжённой тишине громко тикают часы.

Ассистент держит в руке собачью лапу, щупая пульс. Лицо у Ивана Петровича строгое, мелкие капли испарины блестят на высоком лбу.

— Пульс? — спрашивает он отрывисто, не поднимая головы. Руки его ни на минуту, ни на мгновение не замирают, движения пальцев точные и скупые. Они кроют и перекраивают собачий желудок.

У всех животных один желудок, а Ивану Петровичу нужно, чтоб было два. Один большой, другой — отделённый от большого — маленький, сшитый трубочкой, и в нём окошечко-фистула. И так он должен быть отделён, чтобы ничего в нём не было повреждено или испорчено. Тогда посмотрит Иван Петрович в фистулу и увидит в маленьком желудочке, как в зеркале, что происходит в большом, где переваривается пища. В маленький желудочек пища не попадает и потому здесь ничего не будет мешать учёному наблюдать за пищеварительными соками.

Немецкий учёный Гейденгайнен тоже пытался сделать такой „уединённый желудочек“, да у него ничего не вышло. Каждый раз он перерезывал нерв, а без нерва желудок переставал нормально работать.

Нет, Иван Петрович должен сберечь, сохранить все жилки, все нервы, чтобы ничего не испортить в живом организме.

Он должен сделать так, чтобы стало ещё удобнее изучать работу желудка. Он должен докопаться до самого главного, должен понять всё.

— Пульс? Пульс? — спрашивает он нетерпеливо, почти грозно,

— Пульс слабый, — в голозе ассистента и сомнение и надежда.

Горячие, вспотевшие пальцы его всё реже слышат удары пульса, всё слабее становится их сила, — значит, сердце собаки всё медленней работает и медленней, вот-вот остановится совсем.

„Тик... так...“ — Ассистент ждёт следующего удара. Пульс это бьёт или тикают часы?

— Нет пульса, — почти вскрикивает он, захлебнувшись воздухом.

Вздрогнув, останавливаются руки Ивана Петровича.

Медленно поднимается голова. Лицо стало ещё строже, складки на лбу ещё резче. Глаза запали глубже под косматыми бровями, но решительность сверкает в них.

— Приготовьте следующую, — говорит он тихо и сутулясь отходит к окну.

В тенистом саду цветут липы, жёлтая пыльца сыплется с деревьев. Душистым теплом веет из сада в прохладную операционную. Иван Петрович моет руки перед белым умывальником, вытирает их несмятым, белоснежным полотенцем. В никелированной ванночке с кипящей водой — инструменты. В стеклянном шкафчике наготове стоят пузырьки. И снова бьётся пульс под пальцами ассистента. И снова тикают часы — тик-так, тик-так... Проходит час, другой...

Отрывисто раздаётся:

— Пульс?

— Пульса нет, — чуть слышно отвечает ассистент. Побелевшие губы едва разжимаются.

— Следующую, — слышится глухое приказание.

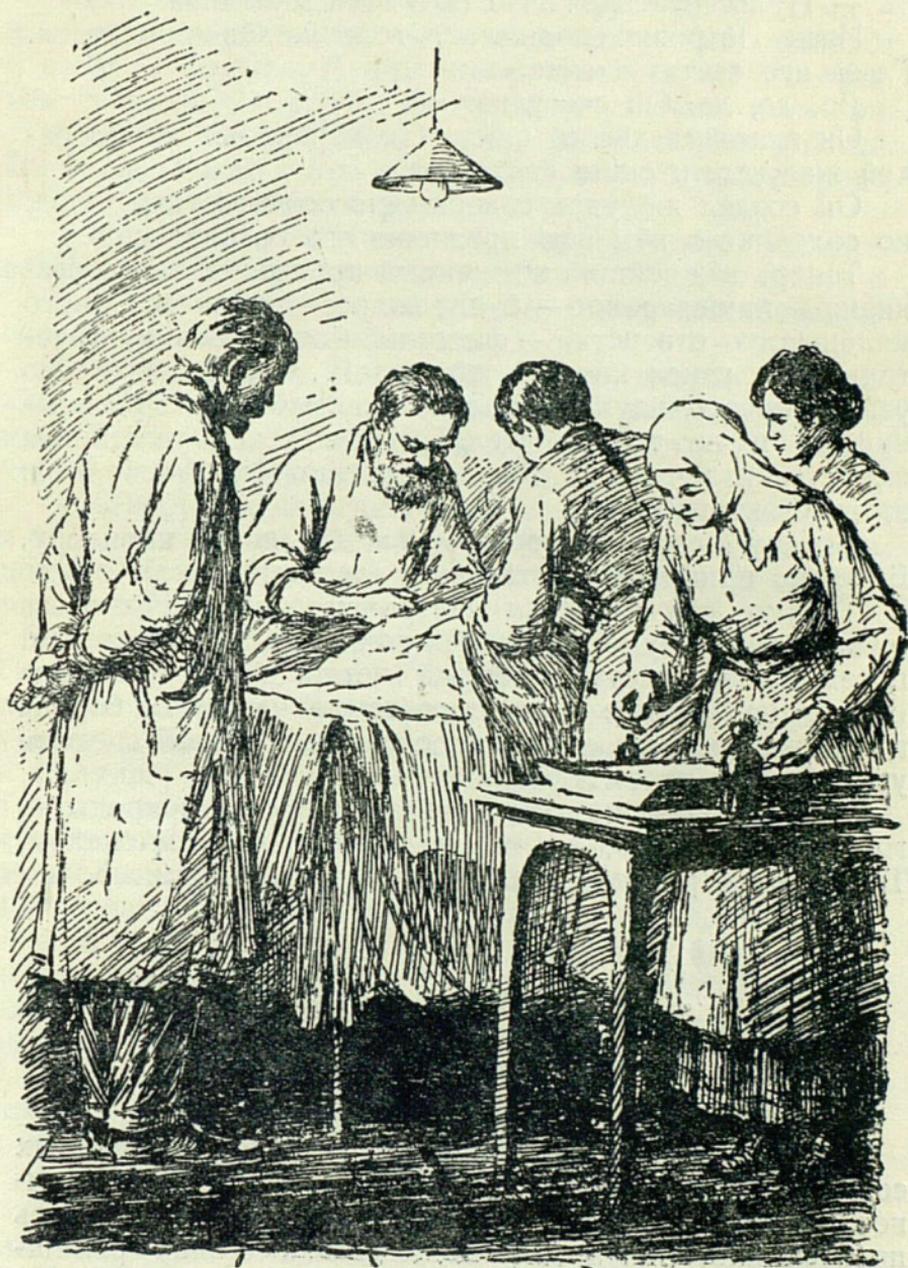
Жилы вздулись на лбу у Ивана Петровича. Потемнели взмокшие пряди волос, прилипли ко лбу.

Он коротко приказывает:

— Следите за пульсом.

— Есть следить за пульсом, — подтянувшись по военному, чётко отвечает ассистент. Но в глазах его, напряжённо сощуренных от яркого света, сомнение. Только руки учёного, ни на минуту не замирающие, сильные, уверенные руки заставляют верить в победу. Пульс слабый, но это даже не страшно уже; он знает: будет „следующая“ и „следующая“.

И ещё четыре часа не открывались высокие, белые



двери операционной и еще четыре часа никто не вошел и не выходил оттуда.

— Пульс слабый... Но операция окончена.

Иван Петрович поднимает голову. Он улыбается. Глаза его светятся счастьем.

Да, да, да. Он счастлив.

Он наложил двести швов. Он перекроил весь собачий желудок и сшил его заново.

Он создал желудок совершенно особого устройства, но сохранив в нём всю прежнюю его организацию.

Теперь важнейший жизненный процесс живого организма — пищеварение — будет подробно изучен. Одного маленького отверстия — фистулы — оказалось недостаточно. Он узнал кое-что, но мало... мало... Сколько узнает нового наука! Сколько желудочных заболеваний, да и не только желудочных, теперь медицина научится излечивать! Да, он именно счастлив. Ради этого стоит работать.

Собаку везут осторожно по длинному коридору. Бережно прикрывают стеганым одеяльцем.

Только сейчас Иван Петрович заметил, что за окнами синие сумерки летней ночи. Трепетно шелестит потемневшей листвой тёплый ветер. Лицо у Ивана Петровича бледное и от этого темнее кажутся борода и пышные волосы. А глаза с покрасневшими веками утомлённые, но смеются:

— Нет, шалишь, мы своё возьмём у природы, — говорит он весело, — а что не выдаст, вырвем силком. Такой уж у русского человека упрямый характер.

КОРМЛЕНИЕ КАМНЯМИ

На столе в специальном станке для подопытных собак стоит рыженькая пушистая Лиска. Это необычное место для собаки, но Лиска чувствует себя здесь превосходно. Она крепко подвязана к станку ремешками, на животе у неё к фистуле прикреплена стеклянная пробирка.

Лиска приветливо помахивает пушистым хвостом

и, повернув остренькую мордочку, смотрит на учёного.

Иван Петрович подойдёт к шкафу с пробирками — и Лиска поворачивает за ним голову; он подойдёт к столу — и вслед за ним поворачивается её рыженькая головка с карими, выпуклыми умными глазками.

Уже не первый день сидит у её станка учёный. Лиска привыкла к его мохнатым бровям, густой бороде, к быстрым движениям рук.

А лицо у Ивана Петровича такое, точно он ждёт от Лиски чего-то очень интересного.

Если вы думаете, что Лиска самая обыкновенная собака, вы очень ошибаетесь.

Раньше, правда, Лиска бегала по дворам, забиралась в помойки, грызлась с другими такими же уличными собаками. Иногда мальчишки швыряли в неё камни, и она убегала, поджав хвост.

А теперь Лиска живёт вместе с другими собаками в тёплом чистом собачнике, в отдельном деревянном домике. Каждый день служитель приводит её в лабораторию к Ивану Петровичу.

Нет, Лиска не простая собака, даже сам Иван Петрович говорит это. У всех собак пища изо рта идёт по пищеводу в желудок, а у Лиски совсем иначе: у неё на шее есть отверстие, и пища не попадает в желудок, — она идёт по пищеводу до этого отверстия, а потом вываливается наружу, обратно в подставленную тарелку. А чтобы Лиска не голодала, Иван Петрович кормит её сам. Прямо в желудок через фистулу вкладывает он маленькие кусочки мяса и хлеба.

Всё это так устроил Иван Петрович, потому что хотелось ему во чтобы то ни стало разгадать ещё одну удивительную загадку, над которой он не мало уже ломал себе голову.

„Почему, — думал он, — желудочный сок то почти совсем не выделяется, а то вдруг часто-часто закапает в пробирку?“

Кап, кап, кап...

В чём тут секрет? Как это узнать? Интересные загадки ставит природа перед учёным!

Когда Лиске приносят миску с кусочками мяса, она жадно глотает их, а они снова вываливаются наружу. В это время в стеклянную пробирку, подвешанную

к фистуле, прозрачной струйкой бежит желудочный сок.

— Видите, — говорит Иван Петрович сотрудникам, — пища еще только попала в рот, а в желудке уже выделяется желудочный сок. Будто кто-то предупредил желудок. Как же это происходит?

Когда Иван Петрович говорит, руки у него двигаются быстро и энергично, а в глазах поблёскивает такой весёлый, задорный огонёк.

Иногда он даже хитро подмигивает Лиске. От удовольствия Лиска вертится в станке, виляет хвостом.

— Это происходит потому, — говорит Иван Петрович, — что во рту спрятаны концы нервов, которые вмиг, как по проводам донесут в головной мозг сигнал — „пища попала в рот“.

Мозг тоже по нервам отдаёт желудку приказ — приготовиться! Заработают желудочные железы, вырабатывающие желудочный сок, — прозрачной струйкой он побежит в желудок. Теперь желудок готов к перевариванию пищи.

Но иногда Иван Петрович ходит сумрачный, нахмуренный, тогда и Лиска печально стоит в станке.

— Вот тебе и на! — говорит Иван Петрович. — Желудочный сок, оказывается, выделяется не только когда пища уже попала в рот; сок бежит в пробирку, когда собака только еще увидела пищу. Но как, как объяснить?

Лиска виновато облизывается, поглядывая на колбасу. Она прижимает уши, и глаза у неё извиняющиеся, будто просит у учёного прощенья.

— Нужно проверить, — говорит Иван Петрович. — Нужно поставить новый опыт, — и добавляет, усмехнувшись: — Попробуем-ка покормить собаку камешками.

Сотрудники удивились: „Камешками?“ Они не поверили. Они решили, что Иван Петрович шутит.

Но Лиске действительно принесли миску с небольшими круглыми камнями.

Она понюхала и обиженно отвернулась. Тогда служитель сам стал вталкивать их ей в пасть. Лиска нехотя глотала их.

— Вот странная вещь, — говорит Иван Петрович, и Лиска чувствует по голосу, что он обеспокоен чем-то.

— Собака жуёт и глотает, а желудочный сок не

выделяется в пробирку. Может быть, это потому, что Лиске насильно камни вкладывают в рот? Но где же найти такую собаку, чтобы она сама ела камни?

Привели чёрного кудлатого Цыгана. Шерсть у него длинная, блестящая и волнистая. На брюхе коричневые подпалины. Уши висят, как лопухи.

Лиска радостно залаяла, увидев Цыгана, а он обрадовался тоже и рявкнул приветственно так громко, что даже пробирки на столе зазвенели. Только камни Цыган есть не стал.

Потом приводили Шарика, Динку, Джека, Альму, Рекса, Бульку, Бобика — и все они тоже отказались глотать камни.

Иван Петрович волновался — он то снимал, то надевал очки, то долго протирал их клетчатым платком.

„Где же взять такую собаку, чтобы она ела камни?“

Лиска, участливо махая пушистым хвостом, нерешительно потянулась к миске с камнями. Ремни станка не пускали её, но Иван Петрович подвинул ей миску, — тогда она неторопливо стала брать в рот камень за камнем, долго, старательно, деловито грызла их и потом проглатывала.

Иван Петрович обрадовался.

— Что за чудесная собака, она сама ест камни... Теперь можно поставить опыт. Смотрите, смотрите, ничего не пропустите! — воскликнул учёный, сразу повеселев.

Внимательно смотрит он на пробирку.

Лиска грызёт и гложет, а сока нет. Значит, нервы доставляют в мозг точные сведения: „Во рту камень, не нужен жулудочный сок“.

— Но как всё-таки объяснить, почему, когда собака только увидит пищу, сок уже бежит в пробирку? Теперь давайте подумаем, помозгуем, — говорит Иван Петрович сотрудникам.

Выходит, не только во рту есть нервы, которые несут сигнал в мозг. Ведь в глазах у собаки спрятаны концы зрительных нервов, это они, наверное, тоже несут в мозг сигнал, когда только еще покажется пища, как только собака её увидит.

— Ну, а теперь что вы скажете? — спрашивает Иван Петрович сотрудников. Он улыбается, в глазах озорные искорки. — Колбаса лежит в кармане моего

халата, Лиска даже не видит её. Так ведь? Смотрите, смотрите.

Лиска втянула носом воздух, заюлила, завиляла хвостом. А в пробирку уже падают капли желудочного сока.

— Ну те-ка? — торжествующе спрашивает Иван Петрович.

Но теперь-то всем уже ясно — это нервы, ведающие обонянием, сообщили в мозг: „Пахнет колбасой“.

Как всё просто и ясно!

— Оказывается, работой желудка управляет мозг! — говорит Иван Петрович. Лицо у него весёлое, морщинки разгладились на лбу, глаза светятся, добрые. Иван Петрович ласково треплет Лиску своей небольшой, сильной рукой по шее. Это он благодарит её, Лиска понимает. Она довольна, она смотрит на Ивана Петровича преданными глазами.

ШАГИ

Мампус — большой и очень старый пёс с разорванным ухом.

Он давно живёт в собачнике и чувствует себя здесь полным хозяином.

Его деревянный домик с решётчатой сеткой стоит у самого входа в собачник и отсюда ему отлично видны все собаки. Если сказать по правде, они немного побаиваются Мампуса. А он считает своим долгом присматривать за ними. Стоит ему только тихо заворчать, как не в меру растяжавшийся щенок сразу же смолкает, виновато поджав хвост. Зато по ночам Мампус всегда первый начинал громко хрипло лаять и его сейчас же дружно поддерживал разноголосый, оглушительный и неумолчный лай.

Только когда в собачник приходил старый служитель лаборатории Максим, в синем мятом халате, Мампус клал свою большую старую голову на лапы и дремал. И весь вид у него был такой, точно он хотел Максиму сказать: „Я честно потрудился, теперь твой

черёд". Но и тогда Мампус прикрывал только один глаз, а другим продолжал посматривать, как бы невзначай.

Мампус знал в собачнике всех собак, знал их повадки, различал голоса. Даже самых новых собак, которых только вчера Максим привёл с улицы, и тех знал Мампус.

Да новую собаку и нетрудно было опознать. Бежала она, сильно натянув верёвку, за которую её удерживал Максим, обнюхивала все углы, лаяла на встречаемых, — одним словом, чувствовала себя непривычно.

Другое дело — Мампус: он неторопливо поднимается по лестнице, сам знает дорогу в лабораторию и станок свой знает. С равнодушным видом даёт застегнуть ремень у себя на спине.

Сотрудников всех в лаборатории Мампус тоже знает и с каждым у него своя дружба, но только к одному Ивану Петровичу Мампус относится совсем по-особенному, только его одного признаёт он своим настоящим хозяином. Увидев Ивана Петровича, Мампус начинает радостно нетерпеливо переминаться на всех четырёх лапах. Сколько помнит Мампус себя здесь в собачнике, столько помнит он и Ивана Петровича. Одни сотрудники приходили учиться в лаборатории, другие, выучившись, уходили, только Иван Петрович неизменно оставался. Да ещё старый Максим всегда был здесь.

Уже поседела голова у Ивана Петровича, борода его стала белая и пушистая, как снег. На лбу залегли глубокие морщины. Много опытов поставил Иван Петрович, много записей сделано в толстом журнале.

Кого-кого, а Ивана Петровича хорошо знал Мампус. Да и сам Иван Петрович тоже говорил, что у него с Мампусом особая дружба. Он даже иногда называл Мампуса „дружище“ или „старина“, — так никого, кроме него, не называл Иван Петрович. И Мампус умел ценить эти знаки дружеского расположения учёного к нему.

Какую бы Иван Петрович ни задал трудную задачу, Мампус всегда старался хорошо выполнить её.

Только один раз Мампус рассердил Ивана Петровича, да и то не по своей вине.

Молодой учёный, ученик Ивана Петровича ставил

тогда опыты над Мампусом. Он долго, терпеливо сидел вместе с собакой в закрытой камере и наблюдал через фистулу за железой, вырабатывающей желудочный сок. Перед ним лежал раскрытый журнал, в него он записывал свои наблюдения. Но что-то не ладилось у него с опытом и Мампус видел, как он ерошит пятернёй свой курчавый чуб над лбом, поглядывая нетерпеливо на часы.

По правде сказать, Мампус не очень старался быть внимательным, потому что он слышал за дверью камеры шаги Максима, который обычно приносил Мампусу завтрак. Наконец молодой учёный не выдержал. Красный, вспотевший, с растрёпанным чубом он выскочил из камеры и прямо наткнулся на Ивана Петровича.

— Ну, что случилось, голубчик? — забеспокоился учёный.

— Ничего не могу понять, Иван Петрович. Почему то усиленное выделение желудочного сока, а ведь никакой пищи и близко нет...

Иван Петрович строго вопросительно посмотрел на ученика поверх очков.

— А какие результаты опыта были в серёду?

Молодой учёный не помнил; он стал торопливо перелистывать журнал, разыскивая запись результатов последнего опыта.

Иван Петрович рассердился:

— Не помните? Ну, какой из вас исследователь? Память короткая. В прошлый опыт было четыре капли, милостивый государь.

Молодой учёный удивлённо смотрел на учителя.

„Как же это Иван Петрович помнит? Это было в прошлую среду. С тех пор столько опытов ставилось в лаборатории... А он помнит! Помнит даже, сколько капель желудочного сока упало в пробирку“.

— Сегодня сколько? — спрашивает Иван Петрович. — Нет, тут что-то не ладно. Вы, наверное, пахнете пищей, — сердито говорит он ученику, — плохо выполоскали рот после еды или не вымыли руки, потому у собаки и выделяется усиленно желудочный сок. Ну, какой вы физиолог? Вы всё думаете — тяп-ляп — и готово. Нет, батенька мой, наука не игра. — Он громко, сердито сморкается и, отстранив ученика, входит в камеру.

Мампус рад, но он не осмеливается показать это — у учёного сердито топорщатся щетинистые брови.

Иван Петрович садится перед собакой:

— Что же ты, старина, путаешь тут? — говорит он Мампусу.

„Но почему же всё-таки у собаки выделяется сегодня так обильно желудочный сок?“ — думает он.

А молодой учёный огорчённо молчит. Он даже не сказал Ивану Петровичу в своё оправдание, что уже вторые сутки, как не прикасался к еде, готовясь к этому опыту.

В камере снова становится тихо. Мампус слышит, как дышат двое учёных — молодой и старый, как тикают карманные часы, положенные на журнал.

Всё идёт нормально. Никакого излишнего выделения сока. Иван Петрович вопросительно переглядывается с молодым учёным. Значит, он был не прав, когда выругал своего помощника за то, что от него пахнет пищей.

Но вот вдруг застучали тяжёлые шаги служителя за дверь. Мампус шевельнул разорванным ухом, облизнулся. Теперь в пробирку часто-часто падают капли желудочного сока.

— Что за чудеса! — Иван Петрович быстро, удивлённо взглянул на ученика. Тот прячет торжествующее выражение в глазах: „Что, мол, говорил?“

— Не понимаю, — недоумевает учитель; но вдруг в глазах Ивана Петровича блеснула радость догадки. Он выскакивает из камеры.

— Максим, Максим, — кричит он служителю, — уйди, а через десять минут снова пройдёшь мимо двери.

Максим удивлённо моргает глазами.

— Слушаю, Иван Петрович. — И покорно уходит, тяжело топая сапогами.

Иван Петрович снова возвращается в камеру. Снова тикают часы на журнале. „Тик-так, тик-так“. И снова всё идёт нормально — желудочный сок больше не выделяется.

Молодой учёный еще ничего не понял.

Но вдруг раздаются опять шаги Максима. Мампус поворачивает голову и прислушивается, шевеля ушами. А в пробирку — кап-кап-кап — бежит сок.

— Так и знал! — радуется Иван Петрович, — так и знал!

„Вот так шаги у Максима! Почему они обладают такой магической силой, а? Ну-ка, Мампус, дружище, что ты нам на это скажешь?“

Мампус приветливо виляет хвостом.

Но в это время за дверью раздались шаги сразу многих ног — быстрые, торопливые.

Нет, это не Максим с миской каши для Мампуса, — его шаги Мампус узнает из тысячи других шагов. Это молодые учёные, ученики Ивана Петровича. Лица у них сегодня особенно праздничные и торжественные. Все столпились у камеры, нетерпеливо шепчутся, не решаясь обратиться к Ивану Петровичу. Но, видно, дело, с которым они прибежали к своему учителю, не терпит отлагательства.

А Иван Петрович сердито хмурится:

— Кто там шепчется? Кто мешает работать? Не лаборатория — балаган! — Потом он сердито протирает платком очки.

— Значит, шаги служителя, — успокаиваясь, продолжает он, — шаги служителя, который приносит всегда собакам пищу, приобретают свойство вызывать у собаки выделение желудочного сока и слюны. Как объяснить это явление?

— Иван Петрович! — робко, но настойчиво раздаётся чей-то голос. — Иван Петрович! — теперь смелее и решительнее. — Пришло радостное известие! Вас избрали академиком! Поздравляем, Иван Петрович, поздравляем!

— Известие? Какое известие? Академиком? Что за чепуха? Ничего не понимаю!

— Вас избрали академиком! Поздравляем, Иван Петрович, — и в камеру к нему просовывается букет цветов.

— Что? — сердито звучит вопрос учёного. Лицо его сурово. — Я спрашиваю, как объяснить это явление?

Мампусу кажется: это его спрашивает Иван Петрович и он в ответ виновато виляет хвостом.

Но учёный сам же и отвечает:

— Собака привыкает к тому, что за шагами служителя следует кормление. В мозгу у собаки образуется связь между звуком шагов служителя и следующей за ними пищей. Теперь уже „слуховые нервы“ несут в мозг сигнал. Я это знаю по себе, — говорит Иван Петрович уже совсем повеселев — да кто этого не знает:

стоит услышать перед обедом звон ножей, вилок, посуды, как засосёт под ложечкой и „побегут слюнки“. Это то же самое, что шаги служителя для собаки. Приближаются шаги, да не просто шаги, а шаги служителя. Мозг уже знает, что это значит, он даёт команду. Побежал желудочный сок, потекла слюна.

Вокруг Ивана Петровича внимательные лица учеников. Для них каждое слово учителя — открытие. Мампус поводит ушами. Он тоже слушает.

— Ну, а если собаке давать пищу по звонку, — говорит Иван Петрович, — она также привыкает и к этому, как привыкла к шагам служителя. В мозгу её образуется временная связь между звонком и следуемой за ним пищей.

Он говорит, а пальцы его то сжимаются в кулак, то разжимаются, глаза его случайно останавливаются на цветах в высокой вазочке с тонкой ножкой, поставленной чьей-то заботливой рукой на его стол.

„Цветы? Ах да, совсем забыл: у нас в лаборатории академик. Избрали всё-таки. Признали, значит. Ну-ну. Вероятно, нужно позвонить жене,“ — вспоминает он и мысли его снова возвращаются к опыту.

— Это всё очень хорошо, — говорит Иван Петрович ученикам, — но нам нужно знать ещё больше, нам нужно знать, что происходит в организме. Нам подавай законы, управляющие организмом; будем и дальше образовывать временные связи.

Пальцы Ивана Петровича сжимаются в кулак. Они будто говорят вместе с ним. Он замолкает, — и они замирают.

С тех пор в лаборатории стали твориться странные вещи, но и к ним привык Мампус. Он привык к тому, что, когда Максим приносит миски с едой для собак, в лаборатории начинают звонить звонки.

Первое время Мампус поднимал голову и прислушивался, шевеля рваным ухом, а потом перестал замечать звонки. И другие собаки, казалось, с удовольствием поглощают свой обед, ничего не замечая. А Иван Петрович ходил от станка к станку, в которых закреплены подопытные собаки, наблюдал, как в пробирки бежит желудочный сок или капает вырабатываемая слюнной железой слюна. У собак и на животе и на морде прикреплены стеклянные пробирки.

Но однажды случилась удивительная вещь: задрезжал в лаборатории звонок. Собаки радостно задвигались, заюлили в станках, нетерпеливо поглядывая на дверь и облизываясь. В пробирки побежала слюна, закапал сок. Но Максим не принёс собакам пищи. Они стояли в станках какие-то растерянные, с опущенными хвостами, настороженно поводя ушами, прислушиваясь к звукам за дверью, нетерпеливо тоненько поскуливая. Они ждали. А Мампус даже громко, требовательно хриплым басом залаял, напоминая Максиму об его обязанностях.

— Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, — радовался Иван Петрович, — это значит, в мозгу у собак уже выработалась временная связь, связь между дребезжанием звонка и кормлением. Видите, услышав звонок, организм собаки приготовился принять пищу — бежит слюна, капает желудочный сок. Это ответ организма на раздражении, или, иначе сказать, рефлекс...

Иван Петрович доволен. Он смеётся. Глаза у него ясные, весёлые... Сейчас ему, что хочешь скажи, — он не рассердится. А Мампус хрипло лает и смотрит выжидающе-вопросительно на Ивана Петровича. Он требует обеда. В лаборатории допущена несправедливость. Он не может с ней мириться. Много лет он служит здесь, и за все эти годы первый раз так несправедливо поступили с собаками.

Но Иван Петрович не слышит. Он ходит по лаборатории. Лицо у него сосредоточенное. Он то сжимает пальцы в кулаки, то разжимает их энергичным, сильным жестом и говорит сам с собой. Это он думает вслух.

— Щенка не нужно учить тому, что необходимо есть, он с этим родился. Это врождённый пищевой рефлекс, он не зависит ни от каких условий, — он безусловный.

А знание того, что шаги служителя или звонок обещают еду, — это выработалось у собаки после рождения и легко может измениться, если, например, собака из лаборатории попадёт в какие-нибудь другие условия. Следовательно, этот ответ — рефлекс условный, вырабатывающийся в зависимости от условий.

„Гав, гав, гав“, — басом залаял Мампус. Улыбнулся Иван Петрович: „Мампус, старина, ты прав: ты и твои товарищи заслужили вкусный и сытный обед“.

А ночью у себя дома Иван Петрович долго сидит за столом и, отодвинув раскрытую книгу, думает:

„Это дорога к изучению самого мозга. Но не преувеличил ли он значение этих явлений? Не ошибся ли он?“

Глаза его напряжённо поблёскивают из-под пушистых седых бровей. Они устремлены куда-то в темноту ночи, заглядывающей в окна его кабинета.

Он смотрит в будущее.

Да, теперь уже можно смело сказать: пищеварение изучено.

Его труды уже стали достоянием мировой науки. К нему на Лопухинскую за тысячи километров едут учёные других стран. Едут, чтобы учиться у русского физиолога. Но теперь все мысли его, все силы сосредоточены на условных рефлексах.

Он должен изучить весь, весь живой организм.

Весь и даже мозг! Мозг, который признан как будто всеми учёными мира не поддающимся никакому изучению.

Мозг — величайшая тайна природы!

Мозг! Вот порог, через который еще никому не удалось переступить!

Нет, шалишь, он пойдёт прямой дорогой!

ИГРУШЕЧНАЯ СОБАЧКА

Это было в Англии, в маленьком университетском городке. Медленно полз по улицам тяжёлый туман, серый, как грязная вата. Чёрные, мокрые стволы высоких деревьев в старом университетском саду проступали смутно, точно сквозь пелену. С утра на улицах, примыкающих к университету, собрался народ. В окнах домов, на балконах — везде теснились люди. Они чего-то ждали. Лица их были обращены к высокому мрачному зданию университета, выступающему сквозь муть тумана. Тусклым, жёлтым пятном проглянуло солнце. Теперь уже ясно можно было разглядеть тёмные, строгие окна и весь университетский сад с голыми де-

ревьями, сырые, посыпанные песком дорожки. За чугуной оградой, отделяющей территорию университета от города, приглушённо гудел народ. Сегодня в Кембридже праздник. Самые лучшие учёные из разных стран мира съехались в Кембриджский университет. Они будут посвящены в почётные доктора — этой чести удостоиваются немногие.

На высокой ограде сидят мальчишки. Отсюда они первые увидят торжественное шествие. Рыжий Джек, обхватив ногами гранитный столб, изображает всадника, скачущего на коне.

— Роб! — кричит он товарищу, оглядываясь назад, — ты, может быть, станешь утверждать, что перегонишь меня? — На лице его, в крупных веснушках, лукавая улыбка. Роб сидит важно на чугунных прутьях ограды. У него длинная шея и узкие плечи, скошенные книзу. На маленькой не по росту головке аккуратно, как у взрослого, на пробор зачесаны волосы. Вид у него полон достоинства.

Он отворачивается и презрительно сплёвывает сквозь зубы. Роб не привык быть последним, он должен быть только первым, а, сидя верхом на ограде, не так-то просто обогнать Джека.

— Алло! Сейчас начинается церемония. Вон ковыляет сэр вице-канцлер, старая обезьяна, — говорит он равнодушным голосом.

Наконец из глубины здания послышались медленные, торжественные звуки музыки. Толпа за оградой беспокойно задвигалась, загудела и напряжённо притихла.

Из-под арки университетской библиотеки показалось удивительное шествие. Учёные с седыми бородами, одетые в яркокрасные мантии с розовыми атласными отворотами и в чёрные бархатные береты с золотыми шнурами, шли парами друг за другом. Во главе этой колонны, пытаясь быть величавым, напыжившись, двигался жезлоносец с громоздким серебряным жезлом в руках, а за ним — три маленьких пажа в чёрных костюмах с гордым выражением на лицах. Вот кому мог позавидовать любой мальчишка в Кембридже. У Джека даже перехватило дыхание. А Роб только выдавил важно и пренебрежительно, оттопыривая нижнюю губу:

— Ничего особенного.

Конечно, не каждому английскому мальчику удаётся быть свидетелем такого зрелища, но проявление всяких чувств Роб считал просто глупостью. Даже сейчас он не забыл придать своему виду должную независимость — руки у него засунуты в карманы, локти расставлены. А у Джека широко открыты глаза.

— Почему они так торопятся? Они просто бегут... — он растерянно оглядывается на товарища. Во всех учёных вопросах Роб значительно осведомлённее его. У Роба отец профессор и брат студент. Зато, когда надо, Джек не хуже Роба умеет пустить пыль в глаза другим мальчишкам. Ведь он как-никак тоже имеет некоторое отношение к науке: его дедушка служит в университете сторожем. Его дедушку знает сам канцлер и вице-канцлер, эта старая обезьяна, „сто чертей на его лысую безмозглую голову“, как говорит дедушка, когда его никто чужой не может услышать.

— Нет, но почему они бегут, как на пожар? Вот задача.

На этот раз даже всезнающий Роб не знал, что ответить Джеку, он пожал плечом, ему не хотелось сознаться в своём незнании. Он глубокомысленно наморщил лоб.

— Значит, так надо.

Этаких скачек еще никому не приходилось видеть с тех пор, как стоит Кембридж.

Притихшая толпа недоуменно задвигалась за оградой, встревоженно загнула.

Джека не мог удовлетворить такой ответ Роба, он быстро спустился с ограды в университетский двор и, пригнув рыжую взъерошенную голову к жёлтым опавшим на землю листьям, пристально всмотрелся в худые, старчески семенящие ноги учёных. Веснушчатое лицо его расплылось в счастливой улыбке. Теперь-то ясно, в чём там дело. Улыбаясь, он посмотрел снизу на Роба.

— Там им кто-то наступает на пятки, — весело крикнул Джек и снова вскарабкался по чугунным прутьям.

— Третий справа, видишь? Он просто не умеет медленно ходить. Смотри, смотри!

Джек ликовал, — ему удалось разгадать удивительную загадку. А Роб, оказалось, уже знает этого старика с колючими бровями.

— Это русский учёный Иван Павлов, — Роб слышал, как о нём говорили отец и брат. — Самый выдающийся учёный на всём земном шаре. Надо получше рассмотреть этого Павлова.

Под торжественно звучащую музыку шествие торопливо обогнуло громадный двор вокруг университета и скрылось в высоких дверях зала.

Толпа еще долго не расходилась, а мальчишки сейчас же перебрались на развесистые голые ветки высоких деревьев. Отсюда они могли заглянуть в ярко освещённые окна университета.

Джек устроился на развесистой ветке с удобством — он просто улёгся на неё животом, обхватив ногами сучковатый ствол. Тоненькие колючие веточки тихо царапали стекло.

Церемония началась.

— Смотри, Роб, вон канцлер восседает, точно на троне, — смеялся Джек.

— Сейчас к нему будут подводить по очереди учёных, — объяснил товарищу Роб. — Когда поведут этого русского, ты смотри в оба — ему студенты спустят с галереи игрушечную собачку на верёвочке.

— А не врешь?

— Вот еще, — обиделся Роб, — сам увидишь. Когда-то давно вот точно так же в этом самом зале студенты спустили игрушечную обезьяну великому Чарльзу Дарвину.

— Откуда ты знаешь? — с сомнением спрашивал Джек.

— Знаю, раз говорю. Я, может быть, и не то еще знаю, дружище, — покровительственно ответил Роб. — Если ты будешь держать язык за зубами, я уж, так и быть, расскажу тебе.

Получив обещание от Джека молчать, он продолжал, понизив голос:

— Вот ему студенты собираются собачку спустить, а если хочешь знать, многие учёные Кембриджа даже совсем не хотели, чтобы его посвящали в почётные доктора нашего университета, лучшего университета в Англии, — да уж что там говорить — лучшего университета во всём мире. Знаешь, какая это честь?

Джек озадаченно моргал белесыми ресницами.

— Но почему же его тогда посвящают?

Роб ответил в нос, растягивая слова, точно так же, как это делал его отец, когда говорил об этом.

— Пришлось. Кембриджский университет был вынужден поступить так, а не иначе. Этот Павлов сделал много важных открытий, не признавать их дальше стало совершенно невозможным.

— Смотри, смотри, — завопил Джек так, что Роберт сердито показал ему кулак.

Они увидели, как кто-то в мантии с тяжёлым жезлом в руках подошёл к русскому учёному и, стукнув перед ним жезлом об пол, повёл его через зал к месту, где восседал канцлер. Наверху галереи вдруг произошла какая-то возня. Мальчики, наблюдавшие через окно, заметили это по строгим взглядам стариков, обращённых на хоры. Там были видны разгорячённые, взволнованные лица студентов. Там был и Чарли — брат Роберта.

Перегнувшись через перила, студенты ждали, когда учёный будет проходить внизу под балконом; только бы не пропустить момент!..

Джек видел спокойное лицо учёного и высокий открытый его лоб. Казалось, что Павлов подсмеивается над всей этой церемонией. Джеку очень понравился русский учёный и, хотя он не знал его замечательных открытий, всё же ни одной минуты не сомневался, что Чарли и все студенты правы, — он самый великий учёный на всём земном шаре.

В это время что-то белое и пушистое скользнуло с балкона и ударилось о грудь учёного. Он подхватил игрушечную собачку, всю утыканную резиновыми и стеклянными трубочками и пробирками, и улыбаясь посмотрел вверх, на хоры. Оттуда улыбались ему счастливые лица.

— Молодцы студенты, — убеждённо сказал Джек, — и Чарли твой молодец.

Джеку очень хотелось быть там, на хорах.

— Как ты думаешь, он повезёт нашу собачку в Россию? — Джеку казалось, — и он участвовал в том, что сейчас видел. Роб тоже смотрел в лицо русского учёного, удивлялся, что тот, хоть стоял перед самим канцлером, но улыбаясь весело смотрел на хоры. Можно подумать, что студенты интересуют его гораздо больше, чем все эти заслуженные профессора и все церемонии. Может быть, он думает сейчас про свою Россию?

Мальчики дождались конца церемонии. Было уже темно, когда широко распахнулись двери университета и из света в темноту вышли посвящённые доктора. Впереди всех шёл русский учёный, другие едва поспевали за ним. Улыбаясь, он рассматривал на ходу собачку.

Английские учёные, забегаая вперёд, старались завести с ним разговор.

Роб кубарем скатился с дерева. Среди них он увидел своего отца, который, придерживая прыгающее на носу, от непривычно быстрой ходьбы, пенсне, заискивающе спрашивал:

— Вы, вероятно, намерены осмотреть достопримечательности Англии? Нет?

Английские учёные ждали ответа.

— Посмотрел бы, да недосуг. Меня работа ждёт, — ответил русский учёный.

Несколько мгновений учёные недоуменно пожимали плечами переглядываясь.

Джек зажал рот рукой, чтобы не фыркнуть.

Теперь они с Робом, пригибаясь, осторожно крадутся за учёными с другой стороны ограды в её тени.

— Как вам понравилась Англия? — снова заискивающе спрашивает отец Роба.

А этот русский неожиданно улыбнулся, как улыбаются те, кто не умеет говорить неправды.

— Как в гостях ни хорошо, а дома лучше, — ответил русский учёный. Он хотел сказать, что соскучился по Родине, по лаборатории, по делу, но не сказал.

Дальше ограда кончилась. Теперь мальчики с сожалением постояли некоторое время в углу университетского сада. Держась за чугунные прутья ограды и прильнув к ней лицами, они смотрели вслед уходящим. А потом медленно побрели назад.

— Когда я вырасту большой, — сказал, останавливаясь, Джек, — я непременно буду таким же вот, как он.

— Сомневаюсь, — ответил товарищу Роб, — для этого нужно много учиться, а тебе не видать университета, как собственных ушей, ведь твоя мать простая прачка.

Джек ничего не ответил, улыбка исчезла с его веснущатого лица. Роб, конечно, лучше осведомлён в учёных вопросах.

А Джек шёл большими решительными шагами, засунув руки в карманы штанов. Может быть, он действительно никогда не будет учёным и никогда не делает столько важных открытий, но зато он постарается быть таким, как этот русский; этого-то сделать ему никто не сможет помешать.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧИСТОКРОВНОГО ЯНКИ

Мистер Вильямс Уэльсон приехал в Россию. Здесь у него были дела. Правда, на этот раз дела совсем особого рода.

Носильщик поставил тугой чемодан мистера на потёртое сиденье автомашины. Уэльсон сел рядом с шофёром. Тот небрежно взглянул на него, даже, вернее, не на него, а на его розовый лоснящийся подбородок и усмехнулся одними глазами.

Уэльсон не любил этих русских парней: в них слишком много независимости или ещё чего-то такого, что не могло нравиться мистеру Уэльсону.

— На Лопухинскую, — буркнул он и отвернулся. В другое время ему было бы ровным счётом всё равно, что думает этот широкоплечий парень с весёлой хитрецей в серых спокойных глазах. Но теперь не те времена. Мистер Уэльсон всегда в глубине души гордился тем, что он знает Россию. В глубине души он не любил её — непонятная страна, непонятный, своевольный народ. Но в Нью-Йорке он щеголял знанием русского языка. Там это казалось удивительным, а в сущности ничего удивительного не было. Просто Вильямс Уэльсон деловой человек. В России у него были свои предприятия — нефть, уголь. Здесь был вложен его капитал. Он учёл все обстоятельства, он действовал без риска, наверняка, как говорят русские. Мистер не учёл только одного обстоятельства — того, что в России может произойти революция. Если бы даже кто-нибудь сказал Уэльсону об этом, он засмеялся бы тому в лицо. Кто же мог думать? Это было так же невероятно, как если бы ему сказали, что стекломой негр

Джо, громадный детина с широкой улыбкой, до ушей, будет сидеть рядом с ним в парламенте. Однако в России произошла революция. Непонятная страна.

Теперь Вильямс Уэльсон имеет деловое поручение от крупной американской фирмы. Последнее время его стала больше интересовать наука. Впрочем, Вильямс Уэльсон в любых обстоятельствах умеет действовать наверняка. Он должен вернуть погибший в России капитал. Он приехал сделать бизнес. Сквозь забрызганное дождём стекло мистер Уэльсон увидел Неву. Машина мчалась через Троицкий мост. Внизу под мостом сердито плескались серые, холодные волны.

— Алло! Петроградская сторона?

— Она самая, — неохотно отозвался шофёр.

Машина остановилась на маленькой тихой улице Петроградской стороны.

— Лаборатория академика Павлова.

Тяжело качнув машину, мистер Уэльсон вышел. В лаборатории он задержится недолго, он хочет, чтобы машина ждала его.

В гостинице уже заказан номер; он устал с дороги, но прежде всего дела.

Русский учёный принял его в коридоре. Брови нахмурены, лицо озабочено, в глазах суровый вопрос: что мистеру Вильямсу Уэльсону угодно? Мистер Уэльсон приподнял шляпу. Он рад познакомиться с великим русским физиологом. Он, понимаете, тоже интересуется наукой. Он приехал из-за океана, чтоб лично познакомиться с выдающимися открытиями господина Павлова.

У мистера Уэльсона есть важное дело к учёному, но предварительно он должен осмотреть лабораторию. Его, собственно, интересуют условные рефлексы и вообще работа учёного по изучению головного мозга.

В лаборатории мистер Уэльсон чувствует себя почти точно так же, как если бы он был в торговом квартале Нью-Йорка. Он идёт уверенной тяжёлой походкой человека, чувствующего себя хозяином. На животе у него не сходится белый халат. В кармане доллары, много долларов. Он, конечно, купит этого Павлова и всю эту лабораторию. У его фирмы достаточно денег. Но мистер Уэльсон деловой человек, он будет вести торг — он должен вернуть свой погибший в России капитал. Здесь не может быть просчёта.

На ходу Уэльсон замечает, что в лаборатории холодно, — он доволен. Хорошо, очень хорошо.

Собаки в станках голодные, с подтянутыми животами, ребра выступают. Очень хорошо.

Павлов должен согласиться заняться изучением мозга чистокровного янки. Должен доказать его исключительное превосходство перед мозгом чернокожих, славян и прочих.

В этом, собственно, и состоит поручение фирмы. Павлов может ставить любые условия. Конечно, удобнее было бы, если бы Павлов уехал в Америку. В России революция, гражданская война. России сейчас не до науки.

В кабинете Павлова выбито стекло и окно заложено фанерой. Под столом стоят валенки, на кресле висит ватник. Очень хорошо, — радуется мистер. Одно только не нравится Вильямсу Уэльсону — это нахмуренные щетинистые брови учёного и всё тот же вопрос в суровых глазах занятого и немного утомлённого человека. Но мистер умеет быть любезным, если этого требует дело.

— Ваше превосходительство, не будете ли вы настолько любезны объяснить мне... — говорит он с заискивающей улыбкой.

Иван Петрович наморщился, он тоже деловой человек, только всякие уловки и ухищрения не входили в его правила.

— Ваше превосходительство... — только успел открыть рот мистер Уэльсон, да так и остался с открытым ртом.

— О черт возьми, — выругался учёный, — да скоро ли вы, сударь, заговорите человеческим языком? Какое я вам „превосходительство“? Это собачья кличка, у меня есть имя. Иван Петрович меня зовут. Просто Иван, — понимаете? Петрович.

Дело приобретало неожиданный оборот. Мистер Уэльсон забеспокоился: непонятная страна, непонятные люди. Здесь нельзя действовать без риска. Но Вильямс Уэльсон во всяких обстоятельствах умеет действовать.

— Хорошо, — он вытирает платком пот с лица и, откинувшись на спинку кресла, говорит:

— Будем говорить по-деловому. У вас холодно. В таких условиях невозможно работать. Америка имеет

достаточно денег, чтоб обеспечить вам нормальные условия. Одним словом, вы нужны Америке и...

— Довольно. Что бы я ни делал, милостивый государь, я постоянно думаю, что служу этим, насколько позволяют силы, моей Родине. — Учёный встаёт, разговор окончен.

Но нет, мистер Вильямс Уэльсон не так прост, как думает этот русский учёный. Недаром он ехал через океан на Лопухинскую улицу, на Петроградской стороне. Недаром он приехал в страну, где уже однажды пропал его капитал. Нет, на этот раз он не позволит себя одурачить. В этот раз он действует наверняка.

В лаборатории внизу стало очень тихо. Сотрудники в белых халатах подняли головы и прислушались. Из кабинета донёсся громовой голос их учителя. А ещё через минуту, придерживая на животе халат, мистер поспешил через лабораторию к выходу. Теперь ему, видимо, не казалось, что в помещении, где находилась лаборатория великого учёного, холодно. Сдерживая улыбки, молодые весёлые лица снова нагнулись над столами.

В передней старый служитель, помогая мистеру освободиться от халата, слышал, как возмущённо он бормотал:

— Непонятная страна, непонятные люди.

Старик неодобрительно посмотрел ему вслед.

— Знать, Россия — не американского ума дело, — сурово проворчал он себе в усы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На улице каменщики заступами рыли мостовую, выворачивали из земли толстые, сырые шпалы с налипшей на них глиной. У панели выросли насыпи булыжника.

Старый служитель физиологической лаборатории долго молча смотрел, как работают каменщики. Колючие жёлтые усы его недовольно топорщились.

— Ну, и что здесь будет? Ишь исковыряли. Понадобилось, — сердито ворчал он. Не получив ответа, старик снова некоторое время молча неодобрительно смотрит и, не выдержав, говорит:

— Я по этой улице, может быть, тридцать лет хожу на работу, — интересно мне знать или нет?

— Не видишь, папаша? Трамвайную линию снимаем.

— Где бы новые строить, а они и эти снимают, — возмущается старик.

— Да ты что, отец, расстраиваешься? — улыбнулся молодой каменщик, — цела твоя улица будет, никуда не денется. А трамвай по другой улице пойдёт. Уж такое постановление Петроградского совета вышло — отменить движение по этой самой улице. Понятно?

— Постановление? — старик поджал губы. Усы его обиженно обвисли.

„Ну, раз постановление, тогда, конечно, дело другое“. Он против постановления не идёт. Только всё-таки интересно, почему такое постановление?

— Говорят, что на этой улице большой учёный работает, опыты делает, — объясняет словоохотливый парень, — нужно, чтобы шум не мешал ему работать.

— Вот еще тоже, — жёлтые усы старика снова колюче встопорщились. — Наш Иван Петрович двадцать лет на этой улице тоже опыты ставит. Ему, что ли, шум не мешал? Сколько раз писали министрам разным, да уж и писать перестали, всё едино не помогает.

В лабораторию старый служитель пришёл в сердитом расположении духа и сразу направился к Ивану Петровичу.

— Видели?

— Что такое? — Иван Петрович поверх очков смотрит на мрачную фигуру служителя, а в глазах чуть-чуть мелькает улыбка.

— Радуйтесь, — мрачно говорит служитель, — трамвайную линию снимают. Вам-то что, вы и так пешком ходите. У вас своя линия.

— Как то есть снимают линию? Трамвая не будет? Безобразие. Я жаловаться буду.

— Жалуйтесь в Петроградский совет, — сразу успокаиваясь, советует служитель, — это его работа, я уж знаю, — торжествуя говорит старик.

— Постой, постой, — Иван Петрович снимает очки и некоторое время удивлённо смотрит на служителя, как будто увидел его впервые.

— Так ведь это же я и писал в совет, — смущённо говорит он и торопится к окну, чтобы самому убедиться

в том, что правительство выполнило его просьбу. А потом он долго взволнованно протирает очки и молча подозрительно сопит.

Теперь старику хочется снова посмотреть, как снимают трамвайную линию, которая мешает работать Ивану Петровичу.

А через несколько минут, весело подмигивая, он говорит сотрудникам в лаборатории:

— Такое уж постановление Петроградского совета вышло. Да-с. Это вам не министры царские. У нас науку вот как уважают.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Дни становились совсем короткими. В сумерках зажигали керосиновую лампу. По привычке завешивали окна. Всё еще невольно с тревогой прислушивались к звукам за замёрзшими стёклами. Совсем еще недавно смолкла артиллерийская стрельба над городом.

В морозном вечернем воздухе звонко разносилась красноармейская песня.

В лаборатории академика Павлова холодно. Учёный работает в валенках и пальто. Изредка он подходит погреть озябшие руки перед открытой дверкой времянки. Потрескивая, шипят дрова.

— Вы бы, Иван Петрович, поближе сюда, к огоньку. А то что это за дрова? Разве ими натопишь? Сырость одна, — ворчливо говорит старый служитель лаборатории, — да хорошо еще, что такие водятся, — вдруг заканчивает он, вспомнив, что только вчера Иван Петрович сердился на него за разобранный соседний забор.

— А то, вишь, заборов жалко. — Жёлтые усы старика обиженно повисли.

Но учёный не слышит ворчания служителя, он озабочен: внизу, в подвальном помещении для подопытных животных, воют голодные собаки. С каждой неделей их становится всё меньше и меньше. А без собак невозможно ставить опыты, без собак замрёт в лаборатории исследовательская работа.

Каждый день Иван Петрович, разворачивая тонкие ломтики хлеба, заботливо завёрнутые ему на завтрак, отдаёт их собакам. Потом аккуратно собирает крошки и поспешно свёртывает бумагу.

Серые щетинистые брови учёного сердито нахмурены, — в пробирке опять замёрз желудочный сок.

Иван Петрович ходит по большой холодной лаборатории с опустевшими станками.

Недавно он был на международном конгрессе физиологов за границей.

Там злорадно спрашивали его:

— Ну, что? Как у вас в так называемой Советской России?

— О Родине я не говорю за её пределами, — резко ответил он.

Ему вкрадчиво возразили:

— У науки нет родины.

— Родина есть у учёного, — ответил он.

„Да, да, да, — теперь говорил он себе, — у меня есть Родина, как бы трудно сейчас ни было“.

Иван Петрович долго, сосредоточенно протирал свои очки, и сотрудники осторожно поглядывали на своего учителя. Они знали, — в такую минуту лучше не попадаться ему под руку.

Потом он надевал халат на пальто и, растирая распухшие руки, шёл делать операцию.

— Работать нужно, милостивые мои государи, работать, да-с, — говорил он сурово сотрудникам, спешившим за ним в операционную.

Здесь, в этой холодной, белой комнате с едким, больничным запахом эфира, сделаны великие открытия. А сколько операций сделано! К каждой операции подолгу готовились в лаборатории — ставили предварительные опыты, спорили, волновались. Старый служитель лаборатории давно уже к этому привык. И всё-таки каждый раз с благоговением смотрел он в сосредоточенное лицо учёного с седыми насупленными бровями. И ему не по себе становилось, когда закрывались высокие белые двери операционной. Он невольно настороженно прислушивался. Там было тихо, очень тихо, только изредка раздавался негромкий знакомый голос. Это говорил Иван Петрович. Говорил коротко и властно. И старый служитель понемногу успокаивался.

вался, только время как-то особенно медленно начинало тянуться. Тогда, чтоб скоротать его, старик искал себе работу. Лучше всего пойти расчистить снег на крыльце. В дверях он столкнулся с высоким сутулым человеком в шляпе, который был обсыпан снегом. Даже на пышных усах его повисли снежинки.

Приветствуя служителя, он приподнял свою шляпу.

— Иван Петровича можно видеть? — громко глуховатым баском, по-волжски сильно окая, спросил пришедший.

— Здравия желаем, — неторопливо ответил старый солдат и при этом подумал: „Усищи-то у него ничего, добрые“. — Можно-то, можно, — неохотно ответил он, — да только сейчас они вакурат находятся. . . Подождать придётся, — сердито заключил служитель, заметив, что гость уже повесил на вешалку шляпу и, отряхивая снег, собирается снять пальто.

— Хороша зима русская. Снегу-то, снегу-то сколько! Поди, дворники ругаются, а?

Глаза пришедшего хитро сузились, в пышных усах спряталась усмешка.

Служитель сердито пошаркал метлой у порога, где виднелся притоптанный снег.

Он хотел сказать, что ноги, мол, вытирать надо, да почему-то не сказал, посмотрев в улыбающиеся глаза гостя.

— Напрасно трудитесь раздеваться, — сердито сказал он, — ватников у нас лишних не имеется.

— А-а, — понимающе протянул усатый, — так не имеется, значит?

Старику опять почудилась смешинка в его глазах.

„Смеётся, что ли?“ — Старый солдат сердился всё больше и больше. Он почувствовал какой-то непорядок в этом усатом.

— С ним, смотри, чего доброго, как бы в дураках не остаться. Хитрая бестия. Вишь ухмыляется. Понадобился ему Иван Петрович, — ворчал старик, провожая гостя недоброжелательным взглядом. А тот уже шагнул через порог, чуть пригибая голову в дверях, как все высокие люди.

Поставив в угол метлу, служитель неторопливо пошёл вслед за гостем в лабораторию.

— Без халата входить в экспериментальное по-

мещение воспрещается, — заметил он со всей строгостью, не глядя на гостя. — И позвольте узнать, кто вы будете из себя и какое такое дело у вас до академика?

Вид у служителя полон достоинства. Слова он произносит с неторопливой важностью. Жёлтые колючие усы его сердито топорщатся.

Гость ответил обстоятельно:

— Я Горький. Назначен в комиссию по созданию благоприятных условий для работы академика Павлова.

Эти слова немного примирили служителя. Здесь при свете он рассмотрел гостя лучше. Волосы у него стоят густой седеющей щетиной. Глаза с хитрецей, но дружелюбные, располагающие. А в пышных усах усмешка.

„Личность знакомая. Как он назвался-то? Горький, что ль? Уж не писатель ли будет? — вдруг спохватился он. — Ну, так и есть, так и есть. Горький, значит“, — старик смутился.

Иван Петрович тоже не сразу поверил, что приехал к нему писатель. Он вышел из операционной с просветлевшим лицом. Он даже совсем не чувствовал усталости после четырёхчасовой операции. Здравываясь с гостем, он вопросительно-выжидаяще посмотрел на него. Он еще был под впечатлением только что происходившего в операционной, полон мыслей о проделанной операции.

— Я к вам, Иван Петрович, от Владимира Ильича, — начал было Горький, поднимаясь навстречу Ивану Петровичу. Глаза писателя, внимательные, живые, с интересом смотрят в лицо учёного.

— Одну минуточку, простите, пожалуйста, — на лице Ивана Петровича появилось выражение озабоченности.

— Нужно измерить температуру воздуха в угловой комнате, где помещена оперированная собака, — обратился он к помощнице. — Не слишком ли там холодно? Может быть, лучше всё-таки перевести её в лабораторию? Как вы считаете, Мария Капитоновна? Здесь, мне кажется, значительно теплее.

Помощница пошла выполнять поручение, тогда только учёный вернулся к гостю.

— Так, так. Значит, вы от... — в глазах его вопрос.

— От Владимира Ильича Ленина, — подсказывает Горький и улыбается, а глаза такие хитрые, точно вот-вот рассмеётся.

Старый служитель от удивления пододвигается всё ближе, подставляя к своему волосатому уху руку щитком, чтобы лучше слышать.

— Вам не приходилось встречаться с ним лично? — спрашивает Горький.

— Не довелось, — отвечает Иван Петрович, — хотя, впрочем... — Лицо у него напряжённое, вспоминающее.

— Так, так. Теперь припоминаю, припоминаю... — 1917 год, Петроградская сторона, — проносится в его памяти, — улица запружена народом... Машина моя вынуждена была остановиться. Оказалось, выступает Ленин, — рассказывает он Горькому. — Он выступал, если я не ошибаюсь, с балкона дворца Кшесинской и со всех концов города стекался туда народ, чтобы услышать его. — Учёный рад, что память не изменила ему, и улыбаясь продолжает, — там ничего не было ни видно, ни слышно, но народ упорно, точно сговорившись, стремился туда.

— Владимир Ильич поручил мне, Иван Петрович, поговорить с вами, — Горький удобнее сел в кресло. Лицо его стало серьёзным, глаза строгими.

— Владимир Ильич знает вас давно. Еще с того времени, когда вы только начали свои замечательные работы по изучению пищеварения. И с тех пор Владимир Ильич уже внимательно следил за вашими трудами.

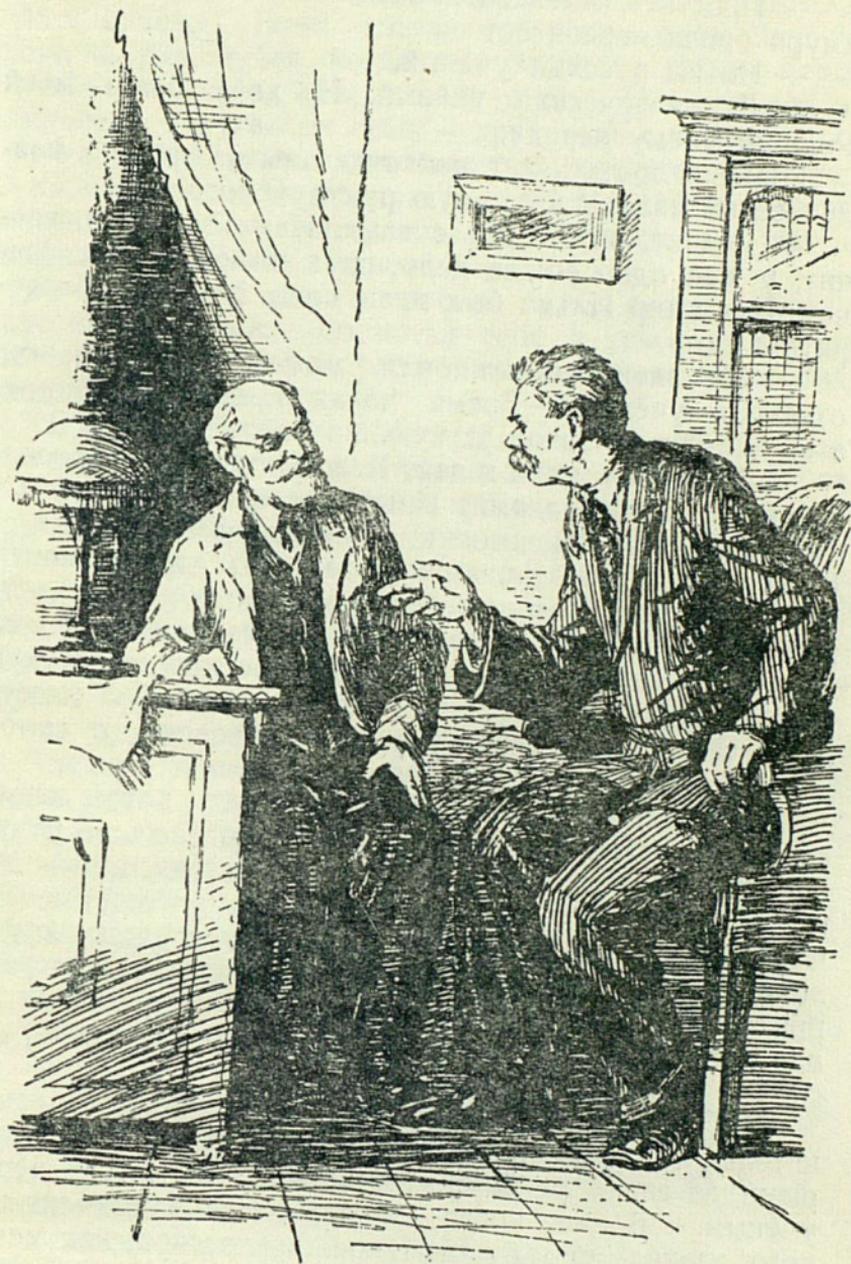
— Постойте, постойте. Дайте разобраться, — говорит Иван Петрович. Он снимает и снова надевает очки.

— Насколько мне известно, Владимир Ильич занимается политикой. Разве возможно, что его интересует моя работа?

— Судите сами, — смеётся Горький. Он доволен. Он ерошит щётку волос у себя на голове и покручивает ус. Но вот глаза его снова становятся серьёзными. Он не смеётся больше.

— Владимир Ильич просит передать вам, Иван Петрович, что он очень высоко оценивает вашу исследовательскую работу.

— Благодарствую, — сдержанно кланяется учёный.



— Нашей стране очень нужны такие люди, как вы, Иван Петрович, сейчас, после революции, особенно...

— Простите, Алексей Максимович, я не политик, — хмуря брови перебивает он.

— Но вы русский учёный.

— Да, я русский учёный. И хочу блага моей Родине, моему народу.

Горький протягивает длинную горячую руку и кладёт её на маленькую сухую руку учёного.

— Значит, вы вместе с нами, Иван Петрович, значит, у нас одно общее дело, одна великая цель. Значит, Владимир Ильич был прав, когда поручил поговорить с вами.

— Не знаю, может быть, может быть, — упрямо отвечает учёный. — Время покажет, — говорит он, — а за внимание благодарствую.

— Провожая меня к вам, Иван Петрович, — продолжал Горький, — Владимир Ильич сказал: „Так и скажите ему, Алексей Максимович: „давайте начинать, Иван Петрович, да, да, да, именно начинать строить новую науку. Науку, которая будет служить народу“. Он просил, чтобы вы подумали, Иван Петрович, над тем, что нужно сделать, чтоб развернуть исследовательскую работу шире, шире... И чтоб на небывалую высоту поставить физиологию — науку о человеке, о самом драгоценном, что есть у нас.

Иван Петрович взволнованно встал, потом снова сел. Старческая рука его нервно задвигалась на ручке кресла. Он был взволнован. Алексей Максимович заговорил сейчас с ним о том, о чём учёный мечтал всю свою жизнь. Иван Петрович не имел удовольствия лично знать этого великого человека, от которого приехал писатель, но теперь он понимает, почему на площади тогда люди так хотели услышать его слова.

— Да, Иван Петрович, мы живём с вами в замечательное время. — Горький встал. Высокий, с заложенными за спину руками, взволнованный, он стоял перед учёным. — Время, когда закладывается фундамент нового здания, оно будет такое прекрасное, как мечта освобождённого человека. И мы с вами, Иван Петрович, тоже положим свой кирпичик в основание этого здания... А имя ему коммунизм.

Старый служитель растроганно бормотал:

— А наш-то, наш-то, — так про себя ласково и в то же время снисходительно называл он учёного. — Ишь смеётся, глаза ясные, что у младенца. Еще бы ему не радоваться, когда сам Владимир Ильич Ленин о нём заботится, а я, старый дурень, разворчался на человека, — ругал он себя, — грех ведь сказать.

Учёный и писатель обошли лабораторию, поднялись в кабинет Ивана Петровича. Алексей Максимович всюду заглядывал, всем интересовался, вопросы его так и сыпались на Ивана Петровича.

— Ишь, всё ему потрогать надо, сразу видно — русский человек, — бормотал себе в усы старый служитель, на некотором расстоянии следовавший за Иваном Петровичем.

В кабинете учёного было ещё холодней. На столе лежали рукописи и книги. В чернильнице застыли чернила.

— Что вам прежде всего нужно, Иван Петрович? — спрашивает Горький.

— Собак, собак, — поспешно говорит учёный. — Хоть сам иди и лови их на улице. И вы знаете? Многие сотрудники мои, подозреваю, так и делают. — Он рассмеялся. Смеялся он всегда заразительно, от души.

— Да, задачка, а? — весело смеялся вместе с ним и Алексей Максимович. — Поди, и цапнет. Ну, а ещё что нужно? — сразу становясь серьёзным, спрашивал он у Ивана Петровича.

— Да вот, пожалуй, всё.

„Спросил бы он у меня, я бы ему рассказал, что Ивану Петровичу нужно“, — думал старик.

— А дрова? — спросил Горький.

Старый служитель беспокойно задвигался, прислушиваясь к тому, что ответит Иван Петрович.

— Ты что? — обернулся к нему учёный.

— Как что? Без дров уж какая там жизнь. Да хоть, если и опыты возьмём: в пробирках сок замерзает. А заборов Иван Петрович ломать не велят, — обиженно закончил он.

Алексей Максимович улыбнулся.

— Так, так. Значит, дрова, говоришь, нужны? Вот слышали? — обратился он к Ивану Петровичу.

— Дров нет; если можете дать, дайте, — ответил тот.

— И паёк вам, Иван Петрович, хотим прибавить, — говорил Горький.

— А это лишнее; как все, так и я.

Старый служитель опять беспокойно задвигался, но Иван Петрович сделал вид, что не замечает его.

Только когда они спустились в лабораторию, он вдруг строго сказал служителю:

— Ты что, как тень, бродишь сзади?

— Да как же, Иван Петрович, не бродить-то? Ведь от самого Владимира Ильича Ленина, — не вытерпел старик, — а я, старый дурень, разворчался на человека. Много к нам ходит разного народа — кто учиться, кто просто посмотреть. Всех пускаем, милости просим.

— Только, значит, меня не хотели пускать.

— Да разве на вас где написано: „Алексей Максимович“?

— Ну ладно, ладно. Кто старое помянет, тому худо бывает.

А через некоторое время Иван Петрович получил новое здание под лабораторию.

Теперь с Лопухинской улицы переезжали на Тучкову набережную. Здесь помещение было просторное, но еще не обжитое.

Иван Петрович с помощниками ходил по пустым комнатам взволнованный и довольный.

— Это будет лаборатория, — поставим столы, закрепим станки. А здесь нужно оборудовать помещение для собак. — Глаза его из-под пушистых седых бровей светились радостью. — Теперь с каждым годом работа станет расширяться. Скоро у нас будет не лаборатория, а целый научно-исследовательский институт. Вот оно как! — говорил счастливый Иван Петрович.

НА ПОСТУ

Ветер дул с залива.

Волны в Неве бежали вспять. Вода прибывала с каждым часом.

Одна за другой ступеньки набережной скрывались

в мутносѣрых волнах. У Петропавловской крепости вода затопила отлогий песчаный берег.

Деревья с желтеющей, редкой уже листвою печально стояли в воде. Ветер рвал с них последние листья.

Вода всё прибывала.

И вдруг, бурля и пенясь, волны хлынули на мостовую. Бурным потоком зашумели у подножия домов, врываясь в подвалы, во дворы.

Целые улицы ушли под воду. Дома теперь поднимались прямо из воды, высокие и мрачные. Уже стемнело, а в окнах не зажигался свет. Покачиваясь на волнах, по улицам плыли брёвна, пустые вѣдра, ящики; постукивая друг о друга, текли сплошным потоком шашки размытых торцовых мостовых.

На перекрёстке, на посту, маленькая коренастая фигурка милиционера, перетянутая кожаным ремнём. Длинные полы его шинели плавают уже в воде.

Проезд закрыт!

С шумом расхлёстывая воду, остановилась легковая машина. Две голубые полосы света от её фар скользнули по тёмной воде и погасли. Шофёр распахнул дверцу.

— Академика Павлова везу.

Милиционер даже не шевельнул бровью.

— Говорят вам, — проезд закрыт. Академику Павлову и тем более.

На строгого маленького милиционера сердито блеснули стѣкла очков учёного:

— Молоды, батенька мой, командовать.

Шофёр победоносно прищурил глаз. Машина сорвалась с места. Но палочка милиционера снова взлетает вверх.

— Нет проезда.

В этот же миг распахивается дверца.

Нет проезда? Хорошо. Он пойдёт пешком. И шумно разгоняя ногами воду, академик Павлов решительно идёт в темноту.

Одно мгновение милиционер хмурясь смотрит ему вслед. В глазах тревога. Теперь он решительным движением опускает свою палочку.

„Значит, крепко нужно“, — решает милиционер.

Машина догоняет Ивана Петровича; сердитый, он садится в неё.

— Чорт знает, что такое, — не может успокоиться учёный, — каждый мальчишка командовать станет.

— Он же на посту, — осторожно заступает шофёр.

— На посту, — сердито бурчит Иван Петрович.

А вода становится всё глубже и глубже. Теперь машина движется медленно, осторожно.

Впереди качается одинокий зелёный огонёк — это лодка.

— Не кажется ли вам, что водный транспорт имеет несравненные преимущества, — поддразнивает Иван Петрович шофёра и, высунувшись из машины, кричит:

— На буксир нас не возьмёте?

— Далече ли? — спрашивает гребец.

Когда лодка подплывает ближе, он поднимает фонарь над головой, чтобы лучше рассмотреть людей в машине.

— Отчего же, можно. Можно и на Тучкову набережную, хоть в самое Балтийское море.

Иван Петрович перебирается в лодку. Её покачивает, обдаёт брызгами. А Иван Петрович, повеселевший, кричит вдогонку машине:

— Несравненные преимущества!

— Эх, папаша, папаша, — ухмыляется гребец, — должно быть, беспокойный у вас характер.

— Насчёт характера молчу, — соглашается Иван Петрович.

— Люди все, как есть, едут оттуда, а вы — туда.

— А там милиционеров нет? — спрашивает Иван Петрович и глаза его хитро щурятся.

— Какие милиционеры? Там вода.

— Чтò им вода. Они в воде стоят. Видел я.

Гребец ухмыляется; ему нравится старик, хитрая прищурка его глаз.

— Ни одной там живой души сейчас нет, одни собаки в институте этом воют.

— Воют? — живо отзывается Иван Петрович, — воют, значит, — задумчиво повторяет он и нетерпеливо всматривается в чёрные громады зданий, поднимающиеся из воды, не узнавая их.

— А что, вода уже убывает? — с тревогой спрашивает он.

Гребец удивлённо смотрит на своего пассажира.

— Чего-чего, а воды сейчас на Васильевском острове хватает, — говорит он успокаивающе.



Навстречу, покачиваясь на волнах, плывёт сорванный с фарватера бакен. Гребец зацепил его багром, накреня набок лодку, привязал к торчащему из воды фонарному столбу.

— Не привяжешь — унесёт в море, — деловито приговаривает он, — всё-таки вещь. Государственная, так сказать, собственность.

А Иван Петрович тревожится: только бы успеть!

Гребец с интересом рассматривает своего пассажира. Зелёный свет фонарика трепетно падает на обеспокоенное лицо учёного. Равномерно поднимаются и опускаются вёсла. Скрипят уключины. Гребец улыбается.

— Погода неподходящая, Иван Петрович, — говорит он вдруг весело.

— Уж не собираетесь ли вы и меня охранять, как государственную собственность? — хмурится Иван Петрович.

Гребец смеётся.

— Если бы моя на то власть, не пустил бы я вас в такую погоду.

— Тут уж один нашёлся такой „на посту“.

— Сейчас каждый всё равно что на посту. Вы вот, к примеру сказать, почему торопитесь в институт? — гребец говорит добродушно и рассудительно, и Иван Петрович не может рассердиться.

Физиологический институт глянул из темноты тревожной чернотой окон. Ветер донёс хриплый лай собак. Иван Петрович насторожился. Лицо его стало сосредоточенным, слушающим.

— Нынче уже второй раз к институту причаливаем, — помогая Ивану Петровичу выбраться на покрытые водою ступеньки, говорит гребец. — Первый-то раз тоже два учёных попросились — мол, собаки гибнут.

В коридоре института плескалась вода. Лай, многоголосый тревожный, нёсся по пустым коридорам, лестницам, звучал эхом где-то высоко в пустых комнатах наверху.

В собачник открыта дверь. Там движется свет фонарей. Мелькают тени. Туда торопится Иван Петрович. Навстречу ему пробежали пожарники в медных касках с факелами в руках. Тени метнулись по коридору. Иван Петрович появился в дверях собачника

озабоченный и строгий. Его не ждали, но знали, что он придёт. Нет, он не опоздал, он поспел как раз к сроку. В воде плавают клетки, в них бьются собаки. Вот громадный пёс с разорванным ухом, обезумев, рвётся из клетки. Его хриплым, оглушительным лаем наполнен собачник.

— Ты что же, Мампус, старина, дисциплину забыл, скандалишь?

Но собака не узнаёт такой знакомый ей голос учёного.

— Перенапряжение нервов. Смотрите, наблюдайте, — говорит Иван Петрович, — перед нами эксперимент, поставленный самой природой. Значит, самый правильный, самый точный эксперимент.

Он не торопится вытаскивать собак из воды. В сущности, теперь они в безопасности. Им не дадут погибнуть. А через какой-нибудь час вода вообще станет спадать.

— Наблюдайте, пользуйтесь моментом. Ничего не упустите, — говорит он своим ученикам.

— Иван Петрович, да что же тут наблюдать? Собаки сами на себя не похожи, перепуганные, мокрые. Иван Петрович смеётся.

— Вот это-то и хорошо, что сами на себя не похожи. И мокрые? Велика ли беда! Да и мы с вами, кажется, не сухие. Наблюдайте, наблюдайте, накапливайте факты.

А когда собаки, необсохшие, взъерошенные, наконец освобождены из клеток и переведены в комнаты верхних этажей, Иван Петрович заметил, что многие из них в ужасе шарахаются от воды, разлитой на полу.

— Иван Петрович, пропали все временные связи, — жалуются учёные. — Теперь собаки уже не помнят, что кормят их по звонку. Звенят звонки, а в пробирку не капает желудочный сок.

— Перед нами собаки с нарушенной деятельностью центральной нервной системы. Только тот может сказать, что он изучил явление, кто, нарушив его, умеет снова вернуть к нормальному состоянию. Вот вам новый материал для исследования, — радуется Иван Петрович. „А он меня еще пропускать не хотел, — улыбнулся он, вспомнив милиционера. — Сам-то, небось, стоит“.

У дверей клиники Ивана Петровича ждал высокий похудевший человек. Он был в ушанке и ватнике, за плечами его висел мешок. Солнце сильно припекало, от асфальта поднимался горячий воздух, но человеку, казалось, не было жарко. Он стоял прямой, с бессильно опущенными большими руками. Худое и тёмное от загара и пыли лицо заросло щетиной. Когда Иван Петрович вышел из дверей клиники, человек молча протянул ему бумажку.

— Что такое? — строго спросил Иван Петрович и, хмурясь, стал читать: „Посылаем тракториста Пахомова к Вам на излечение“.

Человек в ушанке виновато заморгал глазами.

— Это, значит, я и буду Пахомов — тракторист.

Иван Петрович поверх очков внимательно посмотрел на Пахомова, точно хотел убедиться, действительно ли он тракторист.

Парень высоченный, на две головы выше Ивана Петровича; силищи, видно, в нём хоть отбавляй, лицо мужественное, открытое, только вот глаза какие-то беспокойные, тоскливые.

— Вылечите, товарищ академик. Голова у меня того... — На лице Пахомова виноватая, растерянная улыбка. — Врачи признают, — от войны такое случилось. С батькой Махно рубался. Не то контузия, не то что другое. Был парень хоть куда, а теперь пропадаю.

— Откуда же это вы приехали, что-то не разберу?

— Со станции Крымской.

— С Северного Кавказа! Ничего себе, ближняя дорожка. Что же, разве там не лечат?

— Нет, почему? Лечить — лечат. Да болезнь у меня трудная, неподатливая. Мне и сама докторица, которая лечила, не раз говорила: „Тебе бы, Пахомов, к академику Павлову“. Да и в газете про ваше лечение писали. Вот меня и послал колхоз. Глаза его смотрели на Ивана Петровича всё с тем же выражением тоскливого беспокойства. — Работать охота, — он показал Ивану Петровичу свои большие мозолистые руки, растопырив пальцы. — Время-то какое. Колхозы строятся. Люди нужны. Грех болеть. Вылечите, товарищ академик, будьте добры.

Иван Петрович рассердился.

— „Вылечите, будьте добры“. Я не доктор, я учёный. Ну, да раз приехал, так не возвращаться же. — Иван Петрович повернулся и снова вошёл в двери клиники, из которых только что вышел. За ним неуверенно шагнул Пахомов, сняв с головы ушанку.

Уже много дней спит Пахомов крепким, здоровым сном. Все больные здесь спят. В палатах тихо, веет солнечный воздух, чуть заметно колышутся прозрачные занавески, медленно надуваясь, как паруса; сквозь них просвечивает солнце. Солнечные полосы лежат на блестящих, крашенных полах, на белых стенах.

Если бы проснулся сейчас Пахомов, ему бы показалось, что попал он в спящее царство.

Каждый день сюда приходит Иван Петрович, обходит палаты. С ним его ученики — учёные и доктора. Все в белых халатах и шапочках, серьёзные и тихие. Ничто не должно тревожить сон больных. Пусть спят дольше. Сон вылечивает больные, перетрудившиеся нервы. Это Иван Петрович придумал такое лечение. Сначала испытал его на животных. Хорошо. Заболевших после наводнения собак лечили длительным сном; и, просыпаясь, они уже не шарахались от разлитой на полу воды. Теперь так же Иван Петрович лечит нервную систему у людей.

Тихо идут учёные между кроватями, останавливаются, шопотом переговариваются, идут дальше.

У кровати Пахомова Иван Петрович осторожно наклоняется над спящим.

— Товарищ тракторист, — тихо говорит он и улыбается.

— Сколько уже спит? — спрашивает он у врача.

— Седьмые сутки, Иван Петрович.

— Хорошо, — Иван Петрович доволен. На подушке Пахомова дрожит солнечный зайчик от графина на тумбочке. Лицо Пахомова спокойное, отдыхающее, грудь дышит ровно, глубоко. На одеяле большие сильные руки, смуглые и жилистые.

И Иван Петрович невольно вспоминает: „работать охота“ — и улыбается детской счастливой улыбкой.

Скоро, скоро эти руки будут работать.

А через два месяца Пахомов, в ушанке, в ватнике, с мешком за плечами, снова стоит у дверей клиники.

Теперь весело и живо поблёскивают его чёрные глаза. С интересом он смотрит на улицу незнакомого города на прохожих. У каждого своё дело, своя работа, каждый спешит куда-то.

— Ну и хорошо же я выспался! На целую жизнь вперёд, — улыбается Пахомов. И кажется ему, будто бы он снова родился и силы в нём столько, что нет такого дела на земле, которое он не одолел бы. Теперь только бы поскорее добраться в родную станицу, в колхоз. Ничего, что листья у клёна пожелтели, небось, хватит дела и осенью.

Пахомов только что выписался из клиники. Простился со всеми врачами, сёстрами и больными. Только с Иваном Петровичем еще не успел проститься. Потому и не уходит. Стоит у дверей клиники и ждёт. Ему, товарищу академику, он хочет сказать особенно хорошие и ласковые слова. Он еще не знает, какие это слова, только знает, что будут они из самого сердца.

Ш А Р И К

Шарика принесли в собачник слепым щенком. Максим учил его лакать молоко, легонько тыкая его носом в блюдце.

Шарик фыркал и облизывался. Он был пушистый, на толстых лапах. Вид у него был совсем несмышлёный.

Когда Шарик подрос и „поумнел“, Максим повёл его в лабораторию.

Ивану Петровичу очень понравилось, как ожесточённо Шарик лаял на старую институтскую кошку Мурку. Когда-то в молодости Мурка с честью послужила науке — не один опыт был поставлен над ней.

А теперь за старые заслуги её держали в институте на правах пенсионерки — кормили, поили и не спрашивали с неё никакой работы.

Теперь Мурка была не подопытное животное, а простая кошка и на этом основании она тёрлась в буфете, спала между оконными рамами на солнышке или просто разгуливала по институту.

Шарик, увидев её, так сердито затывдал, так ошестинил шерсть на спине, что Иван Петрович сразу же решил:

— Вот эта собака нам и нужна. — И взял его к себе в клинику.

Больше недели Шарик не появлялся в собачнике, и Максим даже немного соскучился по этому весёлому щенку, которого он выхаживал, так сказать, с самых пелёнок.

А когда Максим снова увидел Шарика, он был такой же весёлый, как и раньше, и так же беззаботно болтались его длинные уши, только на брюхе у него была коротко подстрижена шерсть, и Максим сразу же заметил какую-то подозрительную шишку. Высоко подняв светлые брови, внимательно, через очки Максим осматривал Шарика, ворча что-то неодобрительное. Он заметил, что Иван Петрович смотрит на него и хитро улыбается.

— Это что же за шишка? — строго спросил Максим и сердито пошевелил усами. Иван Петрович, не отвечая, подошёл к двери, отворил её и, выглянув в коридор, громко позвал:

— Мурка, Мурка! Кис... кис... кис!

На лице его попрежнему была лукавая усмешка. В дверях показалась Мурка. Слегка сгорбив спину, она потёрлась о дверь, точно раздумывая, войти сюда или не стоит. Шарик залился сердитым лаем, шерсть у него на спине поднялась.

И в тот же момент шишка под кожей сжалась и стала почти незаметной.

— Замечательная шишка! — похвалил Иван Петрович. — И только тут оторвал на минутку глаза от неё, чтоб взглянуть на Максима.

— Видел?

— Чего ж в ней замечательного? — не сдавался Максим.

— Как чего ж? — изумился Иван Петрович. — У Шарика твоего я пересадил селезёнку на новое место, прямо под кожу, чтоб она была видна глазу учёного, и пересадил так, чтоб остались неподвижными все нервы, которыми селезёнка связана с мозгом. Вот эта шишка и есть селезёнка. Сообразил теперь?

Но по выражению лица Максима Иван Петрович

понял, что тот продолжает не понимать. Тогда Иван Петрович рассердился не на шутку. „Как же можно иметь что-то против шишки на брюхе Шарика, когда это такой удачный, такой нужный опыт!“

Теперь он говорил, обращаясь больше к Шарику, чем к Максиму.

— Раньше, брат ты мой, люди даже не знали, зачем нужна селезёнка. Теперь же все знают: селезёнка — хранилище запасных кровяных телец, одним словом, запас крови. Бережётся он в селезёнке на трудный случай жизни. — Иван Петрович закрыл дверь, за которой так же медленно, как появилась, исчезла Мурка, и подошёл к Шарику.

— Превосходная шишка! — он уже больше не сердился на Максима и сказал примирительно:

— Шарик у тебя чрезвычайно умная собака и, что особенно важно, — воинственная. Увидела кошку — так и рвётся в драку. А по нервам в мозг бежит сигнал: „Показалась кошка!“ У собак с кошками, сам знаешь, всегда бывают неприятности. Далеко ли до греха — только отпусти Шарика. Мурка — кошка покладистая, но себя в обиду тоже не даст. Вот мозг Шарика и послал селезёнке команду. Видел, как селезёнка сразу сжалась? Видел? Сжимаясь, она вытолкнула из себя в кровеносные сосуды Шарика запас крови, который хранится в ней. Будет драка, — пригодится, мол. Так? Теперь сам решай, — дельная у твоего Шарика шишка или нет?

Максим поморгал белесыми ресницами и спросил уже более благосклонно.

— Значит, и у человека с селезёнкой так же получается?

— И у человека, — Иван Петрович сощурился и посмотрел на Максима каким-то невидящим взглядом. Он уже забыл и про Максима и про Шарика, он думал вслух:

— Но важнее еще другое... Селезёнка так же, как сердце, желудок, как все органы в живом организме, подчинена головному мозгу. Вот что важно. Вот что мы узнали...

На лице Максима давно уже исчезло снисходительное выражение.

— Скажите!.. — качает он головой.

И когда Иван Петрович, озабоченный и серьёзный, снимает халат и уходит, Максим долго еще остаётся сидеть рядом с Шариком на перекладине, скрепляющей ножки стола. А поднимаясь, кряхтя, он бормочет:

— Вот так шишка! — и в голосе его слышится уважение.

ОСАЖДЁННАЯ КРЕПОСТЬ

Филя жил в физиологическом институте.

Делая уроки, он видел в окно широкий асфальтированный институтский двор, и, кто бы ни проходил по нему, Филя всех знал.

Вот пробежала в марлевой косыночке Любаша с пробирками, поблёскивающими на солнце; в ворота въехала колтушинская машина, забрызганная грязью.

А прямо против Филиных окон стоит маленький домик с квадратными, точно игрушечными окошечками. Это дедушкин собачник.

Давно Филин дедушка работает в институте вместе с Иваном Петровичем.

Филя и вырос здесь, и, так как других ребят не было во дворе, он чувствовал себя полным хозяином.

Каждый день мальчик непременно заходил к дедушке в собачник. Там ударял в нос крепкий собачий запах и оглушал разноголосый лай.

Филя знал каждую собаку, знал её нрав и повадки, знал, когда она появилась в собачнике, и помнил все происшествия, случившиеся с ней.

Деловито, по-хозяйски он обходил деревянные клетки и, наклонившись, осматривал собак.

А они, радостно повизгивая, становились передними лапами на сетку и махали хвостами.

Из собачника Филя направлялся в институт. У дверей дежурный пожарник — вахтёр, сердито топорщивший бравые усы, — увидев Филю, весело улыбался ему.

— Обход делаешь? Добро.

Иногда Филя оставался с ним посидеть под большой доской с номерками, поговорить о пожарном деле.

В полумраке институтских коридоров пахло больницей, было тихо и серьёзно. Из-за закрытых дверей, откуда-то из глубины комнат доносился собачий лай; иногда неожиданно голосисто, как на даче, пел петух или кричала сова.

Здесь себя Филя чувствовал, как дома. Его знали уборщицы, машинистки, служители, лаборанты. Когда Филя был совсем маленький и только еще учился читать, разгуливая по коридорам, он по многу раз старательно разбирал по складам надписи на дверях:

„СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!“ „ТИШЕ!“

Теперь-то он хорошо знал все порядки. А одну надпись он даже сам прибывал. Это было уже давно.

Любаша, молоденькая весёлая лаборантка, держа подмышкой белую эмалированную доску с чёрными буквами, попросила его помочь. Она прибывала молотком, а он подавал ей гвозди.

Когда работа была закончена, Филя прочитал непонятные и удивительные слова: „Отдел условных рефлексов“. Любаша засмеялась и сказала не без гордости:

— Вот видишь, какой у нас теперь есть отдел!

Филя любил этот отдел больше других и за то, что отдел этот был новый в институте, и за то, что он сам прибывал на дверях его надпись, и особенно за то, что там больше всего бывал сам Иван Петрович. Филю тоже всегда тянуло туда. Но первым делом он всё-таки направлялся в крольчатник.

Кролики пугливо смотрели темнокрасными глазками, прижимали уши, жались друг к другу.

Потом Филя заходил в комнату к белым крысам. Столько крыс, наверное, не видел ни один мальчик на свете. Домики у них, как маленькие коробочки со стеклянными стенками. И стоят эти коробочки друг на друге несколькими этажами. Филя осторожно побарабанит пальцем по стеклу, а крысы посмотрят, поведут усиками и займутся своим делом. Глазки у них чёрные, как бисеринки.

Иногда Филя входил и в лабораторию, особенно если была приоткрыта дверь.

В институте давно привыкли к Филе. Он очень хорошо знал, когда можно было входить, а когда нельзя. Если в лаборатории было шумно и лица взрослых не были озабоченными и строгими, — Филя входил смело. Его спрашивали, — хорошо ли он живёт, как его дела и какие у него отметки.

Иногда просили позвать дедушку или отвести собаку.

Филя выполнял всё с готовностью, а в глубине души даже немножко гордился, что всем нужна его помощь.

В школе Филя рассказывал ребятам про собак, кроликов и белых крыс. В классе не было другого такого мальчика, который бы столько знал про животных.

Даже ребята из старших классов прибежали к Филе спросить, — чем ещё можно кормить рыбок в аквариуме, как ухаживать за морскими свинками, можно ли держать белых крыс в стеклянных банках? Филя охотно приходил в школьный живой уголок помочь ребятам, но уголок казался ему совсем маленьким по сравнению с институтскими лабораториями. Ребята немножко завидовали ему.

— Поведи нас к себе в институт, — просили они.

Филе и самому очень хотелось показать товарищам свои владения, но он качал головой.

— Нельзя. Собаки, когда видят чужих, мальчишек особенно, лают, беспокоятся. Тогда у Ивана Петровича опыты не ладятся.

— А ты ходишь, где хочешь? И Ивана Петровича видишь? — спрашивали ребята. По их мнению, Филя был самый счастливый из мальчиков.

Когда он встречал Ивана Петровича в институте, он даже краснел от радости, а если Иван Петрович приходил в лабораторию, Филя смотрел только на него одного и слушал только то, что говорил он.

Один раз Филя услышал слова, которые встревожили его.

— Мы с вами подошли теперь к самому трудному, — сказал Иван Петрович своим сотрудникам. — Подошли к изучению мозга. Испокон веков мозг считался недоступным изучению. И до сих пор он, как осаждённая крепость, остаётся недоступным. Учёные Германии, Англии, Франции и других стран, сколько ни делали

приступов, — не могли взять эту крепость. Один учёный удалил у собаки кору (верхний слой) полушарий головного мозга. Собака жила, бегала, ела. Но она разучилась узнавать своего хозяина, она не помнила окружающего. Тогда учёный решил, что в коре полушарий заложен „разум“.

Казалось, Иван Петрович, крепко задумавшись, разговаривал вслух сам с собой:

— Разум-то, разум. Согласен. Милое слово, но что оно объясняет нам? Дальше-то что? Нет, нам подавай знать, что за ним скрывается, какие законы управляют этим самым разумом.

Иван Петрович встал, прошёлся по лаборатории, заложив за спину руки, и вдруг, остановившись, быстро сказал:

— А мы, русские учёные, должны взять эту крепость. И возьмём.

На лице Ивана Петровича суровая решимость. Брови насуплены, на лбу глубокие морщины:

— Мозг создан природой, — значит, также подчиняется определённым законам, как и весь живой организм.

Весь вопрос теперь в том, как повести осаду этой крепости, с чего начать, какие поставить опыты? — Чуть-чуть прихрамывая, Иван Петрович пошёл к двери; взявшись за дверную ручку, он остановился.

— Думайте, думайте. Ищите путей, — голос его прозвучал сердито.

В лаборатории стало ещё тише.

Первый раз Филя ушёл из института обеспокоенный, встревоженный. Теперь он заглядывал туда ещё чаще. Он шёл прямо в отдел условных рефлексов. Там по-прежнему в лабораториях тяготела напряжённая тишина; казалось, все люди сердились на Филю, так упорно они не поднимали голов от своей работы, так были заняты все чем-то своим. Даже Любаша — и та не смеялась.

Ивана Петровича Филя видел за всё это время только один раз. Он прошёл в белом халате по лестнице, и девушки, весело разговаривающие, увидев его, сразу же смолкли.

Филя уходил неуспокоенный. Но, проходя как-то по коридору, он увидел в открытую дверь Жульку — маленькую, короткошёрстную, вертлявую собачонку.

Жульки уже несколько дней не было в собачнике, и поэтому Филя обрадовался, но, взглядевшись в неё, он сразу заметил, что с собакой что-то неладно.

Это была не прежняя Жулька, весёлая и ласковая, легко подпрыгивающая на высоких, тонких лапках, чтоб лизнуть Филю в лицо.

Теперь Жулька бегала по лаборатории с таким видом, как будто она была здесь в первый раз, потом неожиданно громко и сердито залаяла на учёных, с интересом смотревших на неё.

Иван Петрович пришёл оживлённый, помолодевший, с пушисто расчёсанными белоснежными усами и бородой. Филя взглянул на него и понял, — он знает, как вести осаду крепости.

— Скорее за дело, — заторопил Иван Петрович, только переступив порог, — посмотрим, что нам скажет господин опыт.

— Но какой же можно поставить опыт, чтобы испытать мозг? — Сотрудники Ивана Петровича смотрят на него с недоумением и в то же время с надеждой, они еще не догадались, что задумал Иван Петрович.

— Какой опыт? — быстро переспрашивает Иван Петрович, — очень простой.

Глаза Ивана Петровича лукаво сощурились в улыбке, в них дрожат хитрые блёстки.

— У Жульки срезана кора полушарий головного мозга.

До операции ей давали пищу только по звонку. Она крепко знала: звонит звонок, — значит, будет миска с кашей. Вот мы теперь её и проверим.

Иван Петрович нажал кнопку звонка. Глаза всех устремились на пробирку на Жулькином брюхе, но нет, в пробирку не закапал сок. Жулька не облизывается, не оглядывается нетерпеливо на дверь. Она не помнит, что звонок связан с едой.

— Временные связи, образовавшиеся у собачки до операции, исчезли вместе с корой головного мозга. Вот что нам сказал опыт. Осада крепости ведётся правильно, — торжествовал Иван Петрович. — Хорошо, теперь мы будем у Жульки вырабатывать снова временные связи.

Жулька принялась жадно лакать кашу.

Учёные в белых халатах стояли вокруг неё.

Они с надеждой и почти умиленно смотрели на маленькую бесхвостую собачонку на высоких ножках. От неё ждали ответа на вопрос, который столько раз уже ставили учёные во всех странах... но ответа не получали.

Прошло много дней, а в институте, казалось, было всё без перемен.

На улице шли дожди, и Филя подолгу просиживал в дедушкином собачнике. Они вместе мыли собак в специальной ванной комнате в маленьких белых ванночках.

Жульку теперь водили на кормление в лабораторию, приучали её есть под звонок. Она попрежнему так и не могла привыкнуть ни к собачнику, ни к дедушке, ни к Филе.

— Нет, чего говорить, не та собака, — ворчливо говорил дедушка, — где её место — и то запомнить не может.

Дедушка кряхтя присел рядом с Филей на корточки перед Жулькиной клеткой.

— Мечется, как неприкаянная. Все углы обнюхивает. Не узнаёт. Ну, ей-ей, диковатая какая-то.

Дедушка кряхтя поднялся и, всё еще стоя около Жулькиной клетки, неторопливо вытащил мешочек с табаком, потемневший от времени. Непослушными пальцами стал скручивать папироску.

— Вот смотрю на неё и думаю, — такую собаку выпусти на улицу — она и пропадёт. Не запомнит, ни где помойки, да и то, что в помойке можно найти себе кусочек на пропитание, и то не запомнит. Нет, что и говорить, бесноватая.

Когда дедушка повёл Жульку к Ивану Петровичу на испытание, Филя тоже пошёл в институт. Дедушка привязал Жульку к ножке стола.

Иван Петрович вошёл, как всегда, быстро, готовый к опыту.

Зазвенел звонок. Жулька не обратила на него ни малейшего внимания. Она всё с тем же одинаково враждебным ко всему видом обнюхала кафельные полы лаборатории, полаяла на дедушкины сапоги и, натянув верёвку, потрусилась мелкой рысцой, как будто бы в первый раз знакомясь с этой комнатой.

В пробирку не падали капли желудочного сока. Нет, она не запомнила, что звонок связан с кормлением.

— Не возникли временные связи, — сказал Иван Петрович.

— Вместе с корой головного мозга собака утратила весь свой жизненный опыт. Она ничего не помнит, ни к чему не привыкает, не знает, где и как можно добыть ей пищу. Без коры мозга она осталась с одними врождёнными инстинктами.

Иван Петрович говорил — и всем казалось, как всё просто и ясно. И почему только никто не догадался об этом раньше?

— Значит, — говорит Иван Петрович и искорки в глазах у него становятся ярче; кажется, глаза его светятся, — значит, кора головного мозга ведаёт временными связями, то есть условными рефлексами, а подкорковая область мозга — врождёнными инстинктами.

— Крепость взята, — ликовал Иван Петрович, — теперь можно идти дальше, выяснять, чем ведаёт каждый участок мозга. Сколько теперь интересного впереди!

Дедушка Фили сказал:

— Нет, Жулька всё-таки дельная собака!

На другой день Филя пришёл в школу с таинственным и торжествующим видом. Он сказал ребятам многозначительно:

— Крепость взята!

ВЕЛИКИЙ ЗЕМЛЯК

Утро было свежее и туманное. Моросил мелкий дождь.

Катя давно уже стояла у дверей физиологического института на Тучковой набережной и ёжилась от холода.

Сегодня необыкновенный день в её жизни. Она ждала своего земляка — академика Ивана Петровича Павлова.

Несколько лет тому назад он приезжал в Рязань и был у них в школе.

Катя хорошо помнит: у него пушистая седая борода и мохнатые брови, а глаза внимательные и улыбающиеся. Она узнает его сразу, как только увидит.

Тогда ребята показывали Ивану Петровичу свой зоологический уголок, он ему очень понравился.

Уходя, учёный звал ребят к себе в лабораторию, когда будут в Ленинграде. Катя тоненьким звонким голосом ответила за всех:

— Хорошо. Придём, — и смутилась.

Он посмотрел на Катю, улыбнулся и сказал:

— Непременно приходите, — и спросил, как её зовут.

Вот теперь Катя и приехала. В школе были каникулы, и ребята дали ей задание побывать у великого земляка, а потом сделать в школе доклад.

Было еще очень рано. А Катя давно уже стояла у дверей лаборатории. Она очень волновалась. Ей не верилось, что сегодня она увидит Ивана Петровича и будет разговаривать с ним.

Кто-то открыл изнутри дверь, стуча засовом, и на улицу выглянуло сердитое, заспанное лицо сторожа.

— Ты что тут стоишь?

— Я жду академика Ивана Петровича Павлова, — вежливо ответила Катя.

— А тебе его зачем?

— Меня школа прислала к нему лабораторию посмотреть.

— Вот оно дело какое. Школа, говоришь? Да что ж ты пришла спозаранку-то? Иди-ка еще спать. Иван Петрович придёт аккурат в десять.

Но Катя не ушла. „Вдруг пропущу, — подумала она, — нет, уж лучше я подожду“.

Катя села на ступеньки и стала ждать. Где-то совсем близко во дворе залаяли собаки. Катя подумала о Рязани, — там тоже лают собаки. Особенно по ночам.

Катя задумалась. Она вспомнила, как провожали её мама и ребята.

Ребята толпились у вагона и кричали, чтоб она собак посмотрела и фистулу не забыла бы посмотреть, и про условные рефлексы чтоб расспросила.

— Смотри, ничего не забудь, — наказывали ей ребята.

А перед самым отходом поезда к ним подошёл один знакомый рабочий из железнодорожного депо. Мама ему рассказала, что Катя едет в Ленинград к Ивану Петровичу. Он снял шапку и сказал Кате:

— Передай земляку поклон низкий, пожелания успеха в работе.

А теперь Катя сидела на ступеньках, ждала и волновалась.

Уже стали собираться сотрудники, они спрашивали её, кого она ждёт, и звали в лабораторию, но Катя не шла, она ждала Ивана Петровича.

Она волновалась всё больше и больше.

„Что если он не придёт сегодня совсем?“

Но без пяти минут десять Катя вдруг увидела знакомую невысокую фигуру учёного.

Она побежала к нему навстречу.

— Здравствуйте, Иван Петрович! — еще издали закричала она. — Я к вам из Рязани. Меня ребята командировали — посмотреть и сделать потом доклад. Помните, вы звали? — быстро говорила Катя.

Глаза из-под щетинистых бровей внимательно посмотрели на неё и Иван Петрович улыбнулся.

— Постой, постой, я ведь помню тебя, — сказал учёный. — Доклад, говоришь, тебе поручили?

Когда она вместе с учёным вошла в лабораторию, Иван Петрович, надевая халат, громко сказал сотрудникам:

— Землячку привёл. Приехала в научную командировку. Привезла привет из Рязани. Прошу любить и жаловать.

На Катю надели белый халат. Он ей был велик, широкий и длинный, только кончики ботинок выглядывали из-под него.

„Увидели бы ребята!“ — подумала Катя, оглядывая себя.

А лаборатория была просторная и чистая. Много в ней незнакомых приборов. Сотрудники готовились к опытам. Привели собак. Ой! Каких только тут не было! И больших, и маленьких, и пушистых, и короткошёрстных, белых, чёрных, пятнистых и с подпалинами. Некоторые из них торопились всё обнюхать, всюду заглянуть. К Кате отнеслись, как к знакомой. Им дай только волю, — будут прыгать и лаять.

— Такой уж у них характер, — говорит Кате Иван Петрович, — им и море по колено.

А другие собаки трусливо крадутся у стены на согнутых лапах. Чуть какой звук, — припадут к земле ни живы, ни мертвы.

— Неважные собачки, — говорит Иван Петрович, — из трусливых, но зато в опытах часто затыкают за пояс силачей. А всё дело в том, что у них тормоза хорошо работают. Нервные тормоза.

Катя стояла посредине лаборатории, маленькая и серьёзная. Иван Петрович посмотрел на неё и улыбнулся, надел себе на голову собачью морду-чучело. Катя засмеялась. А Иван Петрович зарычал. Собаки сразу насторожились. Одни сердито залаяли, а другие прижались к земле.

— Вот видите, — говорит учёный, — совершенно различное поведение.

Много чудес увидела Катя в лаборатории Ивана Петровича.

— У слюнной железы нет трудных задач, она на любой вопрос может дать ответ, — рассказывал Кате учёный. — Эту собаку кормили при звучании ноты „фа“. Вот, пожалуйста, посмотри, какая собака музыкальная.

Катя берёт на рояле „до“, „ре“, „ми“ и, наконец, „фа“ — и при этом звуке слюна вдруг побежала в стеклянную пробирку, прикреплённую к морде собаки. Значит, отличает ноту „фа“ от остальных.

— Нет, — возражает Катя, — это она потому узнала „фа“, что я сыграла подряд.

Катя хитрит: она берёт то „си“, то „соль“, то „ре“, то „ля“ и как будто невзначай — „фа“, и снова сразу бежит слюна у собаки.

— Нет, желёзку не перехитришь, — смеётся Иван Петрович.

И он рассказал Кате, как они кормили собак под комаринскую, и собаки потом из десятков песен всегда „узнавали“ именно комаринскую, обильно выделяя слюну, готовясь к еде.

— С помощью слюнной железы мы изучаем собачий разум, — говорит Иван Петрович Кате, — мы теперь знаем, что собака различает белый и чёрный цвета, а все остальные цвета она не в состоянии узнать, хотя бы даже появление их обещало ей пищу. Знаем теперь, что собака различает форму предметов. Она может даже отличить круг от овала.

Катя ходит в белом халате между станками, а в станках — собаки. Смотрит Катя, как испытывают помощ-

ники Ивана Петровича слюнную железу, как в стеклянные пробирки капает слюна.

За каждой собакой наблюдает определённый научный сотрудник, он ставит опыты и всё записывает в дневник. Катя видела эти „собачьи дневники“; на обложке их написано имя собаки.

На некоторых Иван Петрович красным карандашом сделал шуточные записи: „Молодец Джек, веди себя так и дальше на радость твоей хозяйки и на мою“, или — „Мампус, ты порадовал нас своей выдержкой, смотри не сорвись и впредь“. А в дневнике собачьем, как в классном журнале, чего-чего не написано, каких только значков и пометок не сделано!

Но особенно Катю заинтересовал рыжий лохматый пёс, по прозвищу Усач. Громкий лай его не смолкал в лаборатории.

— Почему он всё время лает? — удивилась Катя.

— Усач считает своим долгом охранять хозяйку — ассистентку Петрову. Только подойдёт кто-нибудь к ней, как Усач уже рвётся в станке, того и гляди укусит.

— Очень хорошо! — говорит Иван Петрович, — у собаки этой обострённый сторожевой инстинкт, — учёный хитро подмигивает Кате, он что-то задумал.

Давно уже Иван Петрович старался сдружиться с Усачом. Как только ассистентка Петрова выйдет из лаборатории, Иван Петрович кормит собаку колбасой. Усач доволен, облизывается — очень вкусно. И теперь он привык к тому, что появление Ивана Петровича всякий раз сопровождается угощением. Как только увидит Усач учёного, в пробирку — кап-кап-кап — бежит слюна.

— Ну, подожди ж ты у меня, — говорит Иван Петрович, — я тебя испытаю.

Он взял колбасу, позвал Катю, и они отправились к Усачу.

— Там сейчас Петрова, вот мы и посмотрим, — говорит Иван Петрович, — какой инстинкт сильнее — сторожевой или пищевой.

Иван Петрович решительными шагами подходит к ассистентке Петровой и на глазах Усача жмет ей руку. Усач сердито лает. Тогда Иван Петрович вынимает колбасу. Лай утихает. Теперь Усач ворчит, но как-то нехотя, не сердито.

— В мозгу у собаки сейчас идёт борьба, — говорит Иван Петрович, — борются два инстинкта — сторожевой и пищевой.

Но вот Усач больше уже не рычит. Он виновато виляет хвостом, смотрит на колбасу и скулит.

— Пищевой инстинкт победил, — торжествует учёный. — Побеждает тот, который сильнее, который больше нужен для животных, — говорит Иван Петрович.

Катя слушает, старается всё запомнить, — ей придётся делать доклад в школе. И ребята дали наказ — ничего не забыть. А она столько увидела в лаборатории и столько узнала!

Вечером, когда Иван Петрович собрался уходить, и Катя, усталая, но счастливая, сняла свой халат, он сказал ей шутливо:

— Ну как, делегатка, всё поняла? Нынче среда, в пятницу, если хочешь, могу тебя взять в Колтуши.

Хочет ли она? Разве нужно об этом спрашивать! Когда Катя, от радости забыв поблагодарить Ивана Петровича, ушла, он посмотрел ей вслед и улыбнулся. Вспомнилось детство: Рязань с её тихими улицами, фруктовые сады, косогор над рекой и вихрастый, босоногий мальчишка.

С тех пор прошло почти семьдесят лет. Он много работал и много думал. Если бы его спросили, как это мозг, который до сих пор не поддавался никакому изучению, теперь стал доступен исследователям, — учёный ответил бы: „Очень просто, я постоянно думал об этом. Думал и работал“.

Нет, он еще поспорит со старостью. Он не поддастся, не уступит ей. Теперь, когда только приступлено к изучению работы мозга, ему нельзя стареть. Ему нужно еще много сделать.

Каждую пятницу Иван Петрович ездит в Колтуши, там он строит биологическую станцию.

Станция эта и задумана им, он сам и план разрабатывал и теперь с волнением следил, как осуществляется его мечта.

„Никогда, кажется, еще не было так интересно работать и жить, как теперь“, — думал он. Нет, он еще поспорит со старостью.

Катя боялась, — вдруг Иван Петрович раздумает

и не поедет в Колтуши или почему-нибудь не возьмёт её с собой.

Катя пораньше легла спать, чтобы скорее наступило завтра.

И пятница, наконец, настала.

Катя с Иваном Петровичем поехала в Колтуши.

Какое это было замечательное путешествие! Катя его никогда не забудет.

День был весёлый, солнечный. Они мчались на легковой машине по красивым улицам Ленинграда, потом выехали за город и неслись по шоссе. Кругом солнце, простор, зелёная трава.

По дороге Иван Петрович рассказывал Кате про свою биологическую станцию.

— Во всём мире наша станция единственная! — с гордостью говорил Иван Петрович. — Партия и правительство отпустили громадные средства на её строительство. Гордись, друг мой, что ты живёшь в Советской стране!

Рассказал Иван Петрович Кате и про башню молчания.

— Она устроена так, что никакие звуки с улицы в ней не слышны.

— А зачем такая башня? — допытывалась Катя.

— Опыты нужно проводить в полной тишине, — объясняет Иван Петрович, — чтоб собак не отвлекали посторонние звуки.

И учёный рассказывает Кате, как Петроградский совет вынес специальное решение о том, чтобы всё уличное движение с Лопухинской, где была лаборатория, перенести на другие улицы.

Вдруг Катя увидела на пригорке белую постройку.

— Она самая, голубушка моя, — ласково сказал Иван Петрович.

Станция стояла еще одетая в строительные леса. На стене Катя прочитала блестящую на солнце надпись из золотых букв:

**„НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ,
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ“**

Это был девиз учёного. В Колтушах эти слова называли золотыми словами.

Машина остановилась у самой станции. Навстречу Ивану Петровичу вышли родные, сотрудники и строители станции.

Катя заметила двух беленьких девочек, внучек Ивана Петровича. Им, видно, очень хотелось встать поближе к дедушке и они ждали, когда взрослые отойдут. Девочки были весёлые и понравились Кате.

А Иван Петрович сразу взобрался на леса. Бегая там по деревянным сходням, он всюду заглядывал, всем интересовался и поднимался всё выше и выше, на самый верх круглой башни молчания. То здесь, то там раздавался его голос и мелькала белая борода. Он то радовался, как много успели сделать за неделю, то сердился, когда что-нибудь было сделано не так, как ему хотелось.

Особенно он беспокоился о специальном помещении для собак. По обе стороны станции строились просторные и светлые собачники.

— Тут будут жить собаки, — говорил он Кате на ходу. — А вот здесь кухня для них. Без кухни нельзя. Собака должна быть здоровой и весёлой, тогда и опыты будут давать исследователю правильный ответ.

У станции Иван Петрович показал маленькие, недавно посаженные кустарники.

— Тут я посадил яблоньки. Хороший будет „анис“. Семечки из Рязани привёз. Вот подрастут, мы еще с них яблочки есть будем, — смеялся учёный.

А потом внучки Ивана Петровича повели Катю осматривать Колтуши, им самим хотелось показать ей всё.

— В этом скворечнике каждый год живут скворцы.

— А вот здесь варят смолу, будут асфальтировать дорогу в Ленинград, — наперебой говорили они.

— Тут живут Рафаэль и Роза. Хочешь посмотреть? Они хоть и обезьяны, но всё понимают. Дедушка наблюдает за ними. Ему всё нужно знать, он ведь мозг изучает.

Катя кивнула головой, — „знаю“.

На Розу и Рафаэля она могла бы смотреть целый день, но девочки тащили её дальше.

— Пойдём смотреть, как дедушка в городки играет.

Иван Петрович пригласил в городки играть и Катю; ей очень хотелось, да играли всё взрослые и она постеснялась.



Иван Петрович заговорщицки подмигнул Кате:

— Покажем им, что ли, как в Рязани играют?

Он снял пальто и шляпу и даже засучил рукава.

— Здорово бьёт, — удивилась Катя, — да еще левой.

Катя любила городки и знала в них толк, недаром она была из Рязани.

А Иван Петрович только побряхтывал: „ра-аз! ра-аз!“

— Эх ты, мазила! — весело кричал он, когда кто-нибудь из играющих не попадал в цель.

Внучки Ивана Петровича от нетерпенья даже прыгали. Девочки больше всего гордились тем, что дедушка их лучше всех играет в городки. Потом они показали Кате садик, где Иван Петрович сам вскопал клумбы и сам выкорчевывал пень. Пень, большой и корявый, растопырив могучие корни, лежал на дорожке.

Когда Иван Петрович пришёл в сад с лопаткою и топором и принялся за работу, дети стали ему помогать и Катя тоже. Они рыхлили землю на клумбах, сгребали в большие кучи прошлогодние опавшие листья, подметали дорожки. Всем было дело.

Иван Петрович работал с увлечением. И не поверишь, что ему восемьдесят лет. Глаза блестят весёлым задором. Всё в руках его ладится, так и кипит. Зато с ним и работать как-то особенно интересно и весело. Только и знай не зевай, а то, пожалуй, засмеёт, задразнит.

А через несколько дней Иван Петрович провожал Катю домой, в Рязань.

— Землякам передай, — говорил он Кате, — успеха в работе желаю. И передай им поклон мой низкий. — Он снял шляпу и поклонился. Ветер раздул его седые волосы.

ГРАЖДАНИН ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА

Жизнь одна человеку даётся... Каждый день, каждый час её дорог.

Академик Павлов не может позволить себе тратить время на пустяки. Пустяками он называет всё, что не относится к его работе. Он не может позволить себе

гулять по городу и любоваться его красотами. Но зато по дороге из лаборатории он вдруг увидит золотой закат солнца или заметит холодные серые всплески волн осенней Невы и залюбуется.

— Эх! Хорошо! — скажет он и улыбнётся.

А сегодня у Ивана Петровича совсем особенный день. Завтра откроется 15-й международный конгресс физиологов. Много конгрессов перевидел на своём веку учёный. Но этот съезд учёных необычный, он состоится на Родине Ивана Петровича, здесь, в Ленинграде.

Товарищ Сталин поручил лично ему, академику Павлову, принимать гостей. Иван Петрович волнуется — нужно обо всём подумать. Ему хочется, чтобы на Родине его конгресс прошёл особенно хорошо. Со всех концов земного шара съедутся учёные. Он покажет им физиологический институт, лабораторию, опыты, над которыми работают сейчас русские физиологи. Колтуши непременно покажет. Но сумеет ли он показать всё величие, весь размах, всю кипучую напряжённость исследовательской работы в Советском Союзе? Вот что тревожит его. И он сосредоточенно думает, думает, — седые щетинистые брови насуплены. Глубокие морщины набежали на высокий лоб.

„Да, да; да! Он должен показать им советскую науку. Вот что он должен показать им. И он покажет им её. Вот, вот, именно советскую науку“.

Иван Петрович взволнован, он идёт по Тучковой набережной небольшими, старческими частыми шагами. Он напряжённо думает о завтрашнем дне. Но ничто не в состоянии изменить распорядок его времени. Ровно в 10 часов появляется он в лаборатории, здоровается с сотрудниками, надевает халат — начинается трудовой день. Секунда в секунду в назначенное время он входит на кафедру, чтоб прочесть лекцию. Давно уже не читал лекций Иван Петрович, но в этот день у него была назначена лекция. Он читает в белом халате и в белой шапочке, как в операционной, и всё, что говорит он студентам, тут же на опыте показывает.

— Слова должен подтверждать опыт, — говорит Иван Петрович, — да-с, господин опыт. Перед ним учёный снимает шляпу. Слова, не подтверждающиеся опытом, ничего не стоят. Ровным счётом ничего. Grosh им цена. Смотрите получше, — говорит Иван Петрович студентам, —

наглядывайтесь, наглядывайтесь досыта. Ничего не упустите. А записывать лекцию будете дома.

Увидит Иван Петрович, что студент торопливо записывает его слова, — рассердится: не любит он опущенных голов.

— Пишете, милостивый государь? Что же вы, стенографистом или писцом готовитесь стать, или исследователем, физиологом, а? Да, да. Вас спрашиваю, вас. Учитесь смотреть, наблюдать. Без наблюдательности никогда из вас учёного не получится.

Студент стоит красный, сконфуженный.

— То-то же, — говорит учёный. Он сердито снимает очки, протирает их платком, потом снова надевает, строго смотрит через них в зал и продолжает лекцию. Лицо его постепенно проясняется и, наконец, совсем светлеет, когда студенты спрашивают его про конгресс.

— Это хорошо, что вы заговорили об этом, да я и сам собирался. . . — говорит Иван Петрович. И в зале становится очень тихо, так тихо, что, кажется, тишина тонко звенит под высокими сводами аудитории.

— В эти дни перед конгрессом невольно много думается. Думается и о сделанном уже, и о том, что предстоит ещё сделать. — Иван Петрович говорил тихо, вдумчиво, точно прислушиваясь к своим мыслям. И студенты внимательно, напряжённо слушают своего любимого профессора.

— А сделать вам, будущим советским учёным, предстоит многое. Потому и сказать вам хочется — будьте готовы к решению трудных и великих задач.

Он стоит у кафедры весь светлый, в белом халате, седой, с ясными глазами и говорит просто и отечески строго, а вокруг него всё теснее и теснее собирается молодёжь.

— Изучайте азы науки, прежде чем пытаться взойти на её вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего, — говорит им учёный.

— Никогда не пытайтесь прикрыть недостаток ваших знаний, хотя бы и смелыми, догадками. Догадки — это мыльный пузырь. Он неизбежно лопнет — и ничего, кроме конфуза, у вас не останется. Нет. Приучайте себя к труду и терпению. Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко ни ценили вас, имейте мужество сказать себе: „я невежда“. Не давайте гор-

дыне овладеть вами. Из-за неё вы будете упорствовать там, где нужно согласиться; из-за неё вы откажетесь от полезного совета и товарищеской помощи. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты. Факт — это воздух учёного. Но не превращайтесь в простых архивариусов — хранителей фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Ищите законы, управляющие ими. — Иван Петрович кончил, — несколько мгновений в зале стояла тишина; потом вдруг разом точно взорвался оглушительный гул аплодисментов; он наполнил аудиторию, вырвался в длинные коридоры, разнёсся по всему институту.

А через несколько минут после лекции Иван Петрович уже входил, как обычно, в лабораторию. Он торопился посмотреть опыты, но старый служитель принёс ему почту.

Теперь старик стал совсем дряхлым и глухим, но попрежнему никто лучше его не знал все заботы Ивана Петровича.

— Вот письмецо из Рязани, Иван Петрович, землячки вам пишут.

Письмо было от рязанских колхозников.

Иван Петрович прочитал письмо серьёзно, с благоговением, так, как он когда-то читал письма из дому, от матери. Прочитал ещё раз и задумался.

— Что же они, родимые, пишут-то? — поинтересовался старик.

— Да, это уже не старые рязанцы, — задумчиво проговорил учёный, обращаясь к служителю.

— Эти знают о моих работах. Они приветствуют меня, как учёного, который всю жизнь свою борется за то, чтобы человек стал счастливым, здоровым и умным. Это союз науки и всего народа. И в этом огромная заслуга нашего правительства. Здесь, брат ты мой, наше прекрасное будущее. — Служитель ничего не услышал из того, что сказал учёный, но всё это почувствовал сердцем. И сивые колючие усы его зашевелились, расплываясь в широкую добродушную улыбку. Он подумал почему-то об Алексее Максимовиче Горьком:

„Он тогда рассуждал вот этак, а „наш“-то тогда не соглашался, мол, время еще покажет“. — А теперь, — неторопливо, хрипловатым басом вслух сказал старик, — показало время.

— Ты что? — встрепенулся Иван Петрович.

— Нет, я так. Думаю. Думаю про жизнь, про правду думаю. А ведь Алексей Максимович тогда прав был, Иван Петрович? Да что толковать, ясное дело, что прав.

— Сам видишь, что прав, так зачем же спрашиваешь? — строго ответил учёный и встал, чтоб идти в лабораторию.

А там сегодня было особенно оживлённо, и шумно и суетливо. Волнение Ивана Петровича само собой передалось и сотрудникам, только и говорили, что о завтрашнем дне, о докладе Ивана Петровича, об опытах, которые будут демонстрироваться перед участниками конгресса. Дверь раскрылась — и светлая фигура учёного показалась на пороге.

— Ну-с, как опыт? — прозвучал его нетерпеливый вопрос. Ему оживлённо, торопливо рассказывают сразу же несколько голосов. — Так, так, — говорит он. — Очень хорошо. Давайте повторим опыт ещё раз, — обращается он к ассистенту.

А потом Иван Петрович ходит по лаборатории, руки у него чуть согнуты в локтях и слегка отведены назад, от этого у него озабоченный, какой-то нахохлившийся вид, но глаза ясные. Он вынул часы. . . Через полчаса он будет дома. Сегодня, вероятно, будут гости, но это не мешает ему ровно в десять, как всегда, подняться, протянуть гостю руку, извиниться и уйти работать к себе в кабинет.

Иван Петрович остановился, посмотрел на сотрудников и улыбнулся.

— Знаете, о чём я сейчас думаю? — спрашивает он, — я думаю о том, что у нас у всех одно общее дело. — Он вспомнил свой разговор сегодня со служителем и улыбнулся.

— Да, время показало уже это. У нас одна великая цель. Мы стараемся двигать науку вперёд.

— И каждый из нас старается сделать всё, что только он может сделать, — взволнованно вставил молодой учёный, жадно слушавший слова учителя.

— И у нас зачастую не разберешь, что тут „твоё“, а что „моё“, — продолжал Иван Петрович, — и где здесь твоя мысль, а где моя. Это-то и хорошо. Так работают только в нашей стране.

Иван Петрович прошёлся по лаборатории, потом остановился в кругу своих учеников, внимательно, почти строго посмотрел в молодые лица.

— Да, наука требует от человека всей его жизни, — помолчав, сурово продолжал он, — и если у каждого из вас было две жизни, то их не хватило бы вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе, в ваших исканиях. Будьте настойчивы. Будьте упорны. Но не это я хотел сказать нашим гостям. Это говорю я вам, друзья мои, товарищи мои.

Он задумался, лицо его стало строгим. Седые пушистые брови нахмурились.

— Им я хочу сказать о том, что теперь наука приобрела для исследования весь живой организм, весь. Даже мозг. Мозг, который долгое, долгое время оставался недоступным никаким исследованиям. Теперь мы изучаем и мозг. Вот итог нашей работы. И это целиком наша русская неоспоримая заслуга в мировой науке. Это мы можем прямо сказать нашим гостям. Мне говорили, — у науки нет родины. Ложь. У науки есть родина. — И он вдруг светло улыбнулся так, как улыбался, когда удавалось разрешить сложную научную проблему.

— Я думал сейчас о том, — сказал учёный, — какое великое счастье выпало на нашу с вами долю. Да, да, да, именно счастье. Счастье сознавать себя гражданином великой и прекрасной страны, где наука занимает ведущее и почётнейшее место. Да, нашей Родиной можно гордиться, друзья мои. И я прямо скажу вам, что я горжусь ею.

С В Е Т Ё Л К А

Уже несколько дней Иван Петрович в Рязани. Ходит по улицам, смотрит и улыбается.

— Не узнать Рязани!

Громыхая проходит по мосту трамвай — маленький, не похожий на ленинградский, а трамвай. По широкой улице катит голубой автобус. Новые заводские трубы высятся над городом. А на месте старой, деревянной церкви — педагогический институт.

— Эх и молодцы же, право, мои земляки! — Защищая от солнца рукой глаза, Иван Петрович смотрит на новое здание. А навстречу ему идут рязанцы, молодые и старые. Увидев Ивана Петровича, снимают шапки.

— Доброго здоровья, Иван Петрович! — на лицах весёлые улыбки, а в глазах вопрос: как, мол, родной город вам нравится? Хорошо ли мы его перестроили? Идёт Иван Петрович и радуется. Улыбаясь, щурится от солнца, шляпу в руках держит, на приветствия отвечает, а в глазах: мол, вижу, время зря не теряли.

Вот и улица, на которой жил он мальчишкой.

В розовой пене фруктовые сады. Разрослись ещё пышнее и краше стали. Zalюбовался Иван Петрович.

— Хорошо! Как не любить Рязани! Сады-то, сады! Теперь, небось, новые мичуринские сорта разводят. Здесь, на пустыре он играл с мальчишками в городки, а на зелёном косогоре над рекой дрался на кулачки.

Вот и отчий дом, в котором он вырос. Маленький, деревянный, с мезонином. А теперь он, казалось, ещё меньше стал. Узорчатые наличники на окнах, а в стёклах блестит, переливается солнце. Не раз уж, за этот приезд, подходил Иван Петрович к домику с деревянной резьбой, входил в знакомые двери и всё-таки каждый раз почему-то сердце начинало часто-часто биться.

Неторопливо вошёл он в сад. Как-то очень знакомо хлопнула за ним калитка. Тихо в саду. Неподвижно стоят цветущие яблони, освещённые солнцем. Воздух тёплый, сладкий. Пчёлки осторожно присаживаются на цветы. Жужжа пролетел по саду шмель, а у забора куры деловито разгребают кучи прошлогодних листьев. Там когда-то стояла самодельная трапеция — он тренировал свою правую руку. Мальчишки, прильнув к забору, смотрели в щели, перешёптывались, пересмеивались, а поддразнивали с опаской: взъерепенится, чего доброго, — тогда держись.

Отец говорил соседям: „Мой старший — упрямый, чего задумает, то и сотворит. Весь пошёл в наш род“.

Иван Петрович усмехнулся, сжав кулак правой рукой.

— Пригодилось.

А за садом вскопанная земля огородов. Оттуда крепко пахнет нагретой солнцем тёплой землёй — перегноем. Вот где его руки приобрели настоящую крепость. Каждую весну он с братом помогал отцу. Работали на

огороде — копали гряды, возили в тачках навоз из хлева, ладили клетушки для птиц, чинили плетень. Всем хватало дела. Спасибо отцу с матерью, — на всю жизнь сохранил он любовь к труду.

— Кш, кш! — замахал Иван Петрович шляпой, заметив опускающихся голубей. И вдруг, не выдержав, заложил два пальца в рот, длинно, пронзительно свистнул, как в детстве. А когда голуби взвились, он долго еще смотрел в синее весеннее небо с пухлыми, белоснежными облаками. И небо-то казалось ему очень родным; такое, пожалуй, только в Рязани. Как не любить такое небо!

Каждую весну Иван Петрович скучал по этому яркому небу, по тёплому запаху земли; особенно скучал, пока были живы старики. От них приходили редкие письма с перечнем новостей: на рождество Зорька принесла телёнка с белой звёздочкой на лбу, прошлым годом яблоки побило градом, а нынешний год уродились.

Как в юности, через ступень взмахнул Иван Петрович по крутой деревянной лестничке в светёлку. Пёстрые обои, койка с бурсовым одеялом, полка книг. Старинные фотографии, марлевые занавески на окнах. Когда-то здесь, в этой маленькой комнатке, в мезонине, он жил с братом. Иван Петрович прошёлся по скрипучим некрашеным половицам, распахнул окно. Тут всегда было жарко летом. И теперь всё так же. Тёплый ветерок шевельнул занавеску. Иван Петрович пододвинул стул и сел. И раньше он у этого окошка любил сидеть с книгой. Здесь, в этой светёлке он читал и думал. Здесь он начал жить. Поздно за полночь в окне его светёлки не меркнул свет.

С тех пор сохранилась привитая отцом привычка перечитывать каждую книгу дважды. От торопливого, ошибочного суждения предостерегал отец. Иван Петрович задумчиво смотрел в окно, положив руку, сжатую в кулак, на горячий, нагретый солнцем подоконник. Перед ним лежало белое море садов с тёмными островками острых крыш, голубятней. Скворечники на шесточках, самодельные радиоприёмные мачты, широкая прямая улица, залитая солнцем. В тени забора, высунув язык, лежала косматая дворняжка.

„Удивительно похожа на Лиску“, — думает Иван Петрович. Жёлто-серого цвета с чёрным кончиком ост-

ренького носа, Лиски уже давно нет; с тех пор много собак побывало в его руках. И Иван Петрович снова задумчиво невидящими глазами смотрит на улицу и барабанит пальцами по подоконнику.

Да, здесь вот, в этой светёлке, задумал он помочь человеку стать здоровым, умным и счастливым. И невольно Иван Петрович пробегает мысленно семь десятков лет, прожитых с тех пор. Сделано еще очень мало. И показалось Ивану Петровичу, что перед ним лежит бескрайний, нетронутый океан знаний, а он, как беспомощный ребёнок, всю жизнь только копошится на берегу, перебирая камешки.

„Да, мало сделано, — думает Иван Петрович, — а впереди предстоит еще многое, очень многое нужно сделать“. — И Иван Петрович встаёт.

Завтра же он поедет в Ленинград. Он не может тратить так много времени. В институте ждёт его работа, ждут люди, ждут опыты. Там уже накопились, наверное, новые факты. Пожалуй, он сегодня же и поедет. Нечего откладывать. Вечером он ещё, может, успеет сыграть с мальчишками в городки. Нет, нигде не знают толку, нигде так хорошо не играют в городки, как в Рязани. Он непременно напоследок сразится.

БЫСТРЕЕ ВРЕМЕНИ

Коля жил на Васильевском острове. В школу он ходил по набережной, и случалось, что опаздывал на уроки: уж очень много было на Неве интересного.

Иногда увидит Коля, как рыбаки тянут из воды сети с рыбой. Иногда заглядится на чаек. Лёгкие, быстрые, несутся они по сверкающей на солнце воде. Коричневые от загара гребцы дружно то наклоняются вперёд, то откидываются назад. Разом взлетают из воды мокрые, блестящие на солнце вёсла.

— Эх, хорошо бы сейчас на гичку! — замечается Коля и... обязательно опоздает в школу. Один раз он заметил на противоположной стороне улицы человека. Шёл тот неторопливо, точно не было холодного, осеннего ветра, точно не моросил косой дождь, от которого

дымились серые волны Невы. Вот он стал переходить улицу небольшими старческими шагами. Быстро, быстро дошёл до середины улицы, остановился и посмотрел направо, а потом также прошёл и оставшуюся половину дороги. Поровнявшись с ним, Коля увидел из-под пушистых седых бровей внимательный и чуть-чуть строгий взгляд его глаз. Хотя человек был и старый, и глаза у него смотрели как будто строго, а всё-таки показалось Коле, что были они совсем мальчишечьи, вот-вот подмигнут весело, с озорством. С тех пор каждый раз Коля встречал его на набережной, и каждый раз смотрел, как он переходит улицу небольшими то-ропливыми шагами.

Прошла зима, настала весна, снова пригрело солнышко и ожила Нева. Почернели тропинки, пересекающие её снежную гладь с одного берега на другой. А у самых гранитных перил, где выросли за зиму горы грязного снега, появились трещины в голубом прозрачном льду. Показалась вода темнозелёная, глубокая. И чем больше грело солнце, тем шире становились трещины и проталины, рыхлее и ноздреватее снег, звонче мальчишеские голоса и тем медленнее шёл Коля в школу. Но теперь он никогда не опаздывал. Никто не знал Колиного секрета, а секрет был очень простой.

Если Коля встречал человека с седыми бровями у моста, он знал, — ещё время есть, можно не очень спешить, если же далеко от моста, — тогда нужно бежать, скоро звонок. И ни разу этот человек не подводил Колю.

Летом кончились занятия в школе. Коля перешёл в четвёртый класс и уехал в пионерский лагерь. А когда он вернулся и 1-го сентября снова побежал в школу, то опять встретил своего старого знакомого с седыми бровями. Увидев его, Коля снял шапку и поздоровался, и старик тоже приподнял свою шляпу, отвечая на Колино приветствие.

С тех пор Коля всегда здоровался с ним и даже насколько не обижался, когда тот почему-то отвечал сердито и брови его были озабоченно насуслены. Но один раз Коля заметил, что идёт он медленно, медленно, точно очень устал. Переходя через улицу, он не заторопился, а на середине её не остановился, как обычно. Сердце Колино почему-то сжалось. Долго он стоял и смотрел ему вслед. А на следующий день Коля уже не

встретил его на набережной, тоскливое чувство какого-то беспокойства охватило его, точно ему чего-то не доставало, и показалось ему, что набережная опустела.

Много дней прошло, а знакомого своего с седыми бровями не встречал он больше.

И как-то опять случилось так, что Коля опоздал на урок по географии и получил даже двойку. Учитель спросил Колю, почему он не выучил урок.

— Не успел, — ответил Коля, вспомнив, что на географию ему не осталось времени.

— Значит, время обогнало тебя, — с сожалением сказал учитель. Ничего не ответил Коля, но запомнились ему слова учителя.

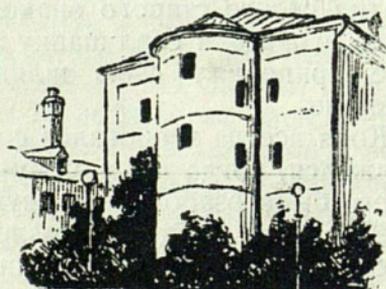
В этот день Коля узнал, что умер великий русский учёный академик Иван Петрович Павлов, такой уж несчастный выдался день.

Вечером развернул отец газету и тихо сказал:

— Умер Иван Петрович, — и помолчав добавил, — три жизни прожил он за одну.

В газете был портрет учёного. И Коле захотелось посмотреть на человека, который обогнал время на три жизни вперёд. Он подошёл к отцу и заглянул через его плечо. И вдруг он увидел, — с газетного листа смотрело на него знакомое лицо с пушистыми седыми бровями. Глаза смотрели внимательно и чуть-чуть строго, и Коле опять показалось, что было в них что-то мальчишеское и весёлое.

— Так вот кто жил быстрее времени, — сказал он тихо.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Городки	5
В путь-дорогу	10
Живое окошко	13
Подсказанный ответ	18
Когда невозможное становится возможным	20
Кормление камнями	24
Шаги	28
Игрушечная собачка	35
Головной мозг чистокровного янки	41
Постановление	44
Новый день	46
На посту	54
Сон	60
Шарик	62
Осаждённая крепость	65
Великий земляк	71
Гражданин великого Отечества	80
Светёлка	85
Быстрее времени	88

3022



~~29118~~

ОБЛОЖКА В. ВЕТРОГОНСКОГО

Для среднего возраста

Ответственный редактор
Г. Гроденский

Художник-редактор Ю. Киселев.
Технический редактор Т. Лейкина.
Корректоры: А. Петрова, А. Нар-
войш. 84×108¹₃₂. Бум. л. 17¹₁₆. Печ. л.
4,72. Уч.-изд. л. 4,67. Авт. л. 4,2. Тираж
30000. М-45555. Подписано к печ. 11/XII
1952 г. Цена 2 р. 40 к. (Номинал по
прейскуранту 1952 г.) Заказ 225.

2-я фабрика детской книги Детгиза
Министерства Просвещения РСФСР.
Ленинград, 2-я Советская, 7.

*Отзывы и пожелания издательству
направьте по адресу: Ленинград,
набережная Кутузова, 6, Дом
детской книги Детгиза.*

~~24 к~~ 200 =

~~2 р 40 к.~~